

Дмитрий Савицкий

ТЕМА
БЕЗ ВАРИАЦИЙ



PASSÉ DÉCOMPOSÉ,
FUTUR SIMPLE

Химера

Дмитрий Савицкий

Тема Без Вариаций

роман

**PASSÉ DÉCOMPOSÉ,
FUTUR SIMPLE**

Химера

Санкт-Петербург

1998

Дмитрий Савицкий
Тема Без Вариаций
роман

**Охраняется законом РФ об авторском праве.
Любое полное или частичное переиздание данного
произведения невозможно без письменного разреше-
ния автора и «Издательства «Химера».
Любые попытки нарушения закона будут
преследоваться в судебном порядке.**

*По вопросам приобретения издания обращаться по
тел.: (812) 213-3438, 213-0089
адресу: 199053, Санкт-Петербург, В.О., 2-я линия, д.23
E-mail: YAM@mail.convey.ru
on web: www.chimera.spb.ru*

Дмитрий Савицкий. Тема Без Вариаций: роман. – СПб.: «Химера»,
1998. – 312 с.

ISBN 5 - 8168 - 0004 - 3

- © Dmitri Savitski, 1998
- © Dmitri Savitski, фото, 1998
- © ООО «Издательство «Химера», 1998

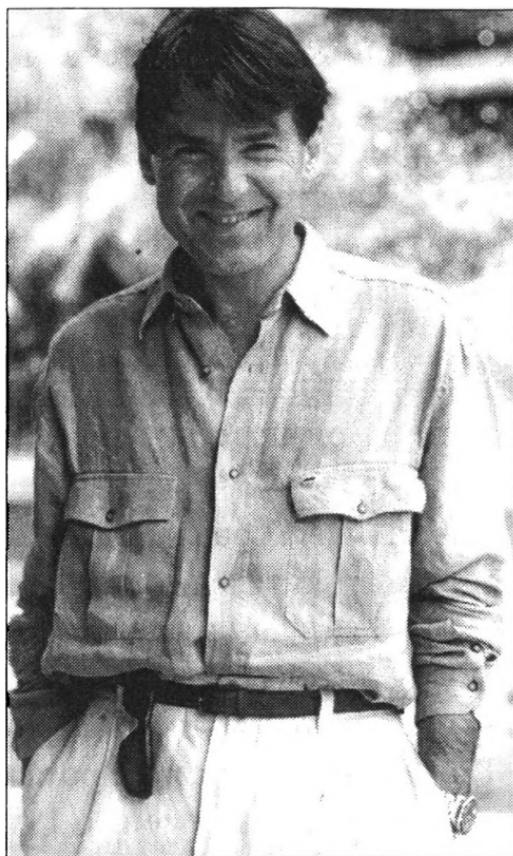
Об авторе

Дмитрий Савицкий – бывший москвич, с 1978 года живет в Париже. В СССР практически не печатался. Во Франции опубликовал четыре книги: “Раздвоенные Люди” (издательство Жан-Клод Латтес), “Антигид по Москве” (издательство Рамсей), “Ниоткуда с любовью” (издательство Альба-Мишель) и “Вальс для К.” (издательство Латтес).

Печатался в Италии, США и других странах. Много писал для французской прессы (Либерасьон, Монд де ла Мюзик, Рок & Фольк, Люи, Леттр Интернасьональ, Л’отр Журналь, Монд и т. д.).

С 1989 года Дмитрий Савицкий – ведущий передачи радио “Свобода” “49 минут джаза”.

В 1991 году издательство “Радуга” открыло однотомником Дмитрия Савицкого серию “Русское Зарубежье”. На французском языке роман “Тема Без Вариаций” выйдет в Париже осенью 1998 года.



J. D. Smith

Все герои этой книги, равно как и события, полностью вымышлены и имели место лишь в воображении автора.

ДС

памяти Геннадия Шмакова

Чудак Евгений бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет...

Осип Мандельштам

...И при слове “грядущее” из русского языка
выбегают мыши...

Иосиф Бродский

Мертвая Жюли лежит в моих объятиях. Ее глаза мокро блестят, ее пальцы скользят в моих спутанных волосах, ее живот ходит волнами, но она мертва. Она мертвее мертвых роз, вторую неделю гниющих в мутной, цвета мочи, воде. Она мертвее лампы и стула, комода и камина, мертвее налета пыли, припорошившей раму японской гравюры. Я все еще в ней, все еще чувствую ее вялый сырой жар. Она улыбается большой счастливой улыбкой и кусает меня в мочку уха. Сорок лет назад в заснеженной, вьюгой исхлестанной Москве его прокусила голодная измайловская крыса. Я только что вылупился из затянувшегося небытия: мать выдавила меня из жидкого пунцового жара в холодный мир тусклых двадцатипятиваттовок, лилового законного снега да хриплого пения вернувшихся с войны людей.

Отец убил крысу обухом топора. Это все, что я о нем знаю. Офицерская шинель, пахнувшая, оттаивая, псиной, американская тушенка, которую он доставал из-под продавленного кожаного дивана, едкие папиросы и заводная немецкая игрушка – лязгавший железными суставами гимнаст на полосатом турнике – детали эти завершают его образ, где вместо лица клубится пустой воздух.

В шестнадцать лет мы воровали с приятелем цветы на Ваганьковском кладбище, где он похоронен. Я никогда не был на его могиле.

Жюли чувствует мое отсутствие. Ее дыхание становится настороженным. Скосив глаз, я смотрю на ее розовую грудь, приспущенную, как проколота шинная. Я слушаю ее мертвый голос, перекатывающий слова, как море перекатывает мертвую гальку. Смысл ее слов имеет не больше значения, чем чтение наугад телефонной книги. Она урчит и фальшиво постанывает, прижимаясь ко мне, вдавливаясь в меня все сильнее, словно хочет стать мною, смешать свои внутренности с моими, натянуть сверху общую лопающуюся кожу. Сквозь заболоченное хлюпающее зрение я вижу спутавшиеся кишки, чавкающие вместе легкие, розовое ребро, мягко вошедшее в фиолетовую селезенку. Ужас.

Каждый раз, замечая мою отчужденность, мой побег, мою самоволку, она пытается втиснуться в меня, прорасти насквозь, или же наоборот – вобрать меня всего, замкнуть в потных объятиях, в скользком и горячем борцовском захвате. Я чувствую, как мое сердце трепещет в клетке ее ребер, моя печень трется о ее почку, я чувствую ее язык, выворачивающий мое глазное яблоко... – Caro! – шепчет она, задыхаясь: – Amor!..¹

Я слышу дождь, пробующий отдельными крупными ударами крышу, язык Жюли танцует у меня в горле, дождь падает сплошным потоком, потопом и тут же бессильно умирает. За надкушенным яблоком ее смуглого плеча я вижу тяжелое лет-

¹ Дорогой! Любимый!.. (итал.). Здесь и далее перевод и примечания автора.

красную, как после бани, маменьку... Осторожно прикрыв дверь гостиной, словно во сне переместившись в запущенный сад, под чахлую местную чеховскую вишню, вдруг доходит: маменька всхлипывала не ртом!

Горячий и влажный ветер наполняет штору. Слышно, как с подоконника течет на пол. Жюли! Моя мертвая Жюли! Пять минут назад ты кричала в моих объятиях, стонала и подвывала, как сломанный музыкальный ящик. Ты никогда, мрак дней моих, не получишь Оскара за лучшее исполнение женской роли! Все было не попад. Вся ты была не попад. Знаешь, у тех, у других, что раздражаются грозами, каждый вздрог, каждый всхлип есть гребень волны, рожденной внутри тела, а не в гортани. Среди черных водорослей, пены и брызг, но не в легких. Волны бьют их, переворачивают, тащат. Песок скрипит у них на зубах. Спроси их в этот момент имя первенца, группу крови или их адрес на этой планете – они неспособны ответить. Слова исчезли для них, немота распирает, у них глаза утопленниц.

Жюли смотрит на меня в упор. Ты смотришь на меня в упор. Ты знаешь, что я знаю. Порез боли кровоточит в твоих глазах, узкая алая трещинка, лопнувший капилляр. Но я чувствую перемену. Словно отключили ток. Ты приняла решение. Ты сдаешься. Ты встряхиваешь слипшимися кудрями. Ты успокаиваешься. Мир? Ты домурлыкала, дорычала текст до конца. Ты что-то говоришь, мягко раскрывая запекшиеся губы. Ты нежно улыбаешь-

ся. Мир! Твое тело разжимается, расплзается, растекается, принимая свою обычную форму. Становится грустным самим собою.

Я слышу трепет листьев и шум ветвей большого платана. Сквозь плавниковый плеск его листьев мне слышится дребезжащий трамвай из детства: Аннушка, литера "А", несущийся от Зубовской вниз к Новодевичьему. Красный, звенящий как копилка с медяками, забрызганный крупными, как из-под колеса точильщика, искрами... Моя ярость умирает, съезживается до точки, гаснет сигаретой, пылит седым пеплом...

Я лежу на спине, раздавленный разрастающейся грустью, и когда ты встаешь, чтобы поставить Веберна, которого ты терпеть не можешь, но которого люблю я, когда ты склоняешься над авиационными приборами твоего дорогого стерео, я скатываюсь с кровати и исчезаю в ванной.

Стенное зеркало делает наспех два-три моментальных снимка и запотеваает. Я лежу в горячей воде, разглядывая сквозь потолочное окно подвижный узор листьев старого дерева. Жюли, причесанная и затянута в темно-синее с огромными белыми иероглифами кимоно, приносит стакан водки-тоника. С промокшей сигаретой в зубах, с пустым стаканом в руке я засыпаю под струнный квартет австрийца.

Солнце наконец-то зашло, но улицы раскалены и асфальт мягок, как темечко ребенка. Духота

нее небо в вертикальном просвете незадернутых штор. Небо Парижа, цвета замоченного третий день в воде грязного белья.

Духота давит со всех сторон, воздух пачкает кожу, с трудом натекает в легкие. Его можно схватить двумя пальцами. Он пропитан потом и испарениями, оливковым маслом, чесноком, мятой, парами бензина, духами Жюли, гнилью. Этот воздух можно проткнуть вязальной спицей, и из мутного ничего брызнет гной.

Где-то над Аустерлицким вокзалом, над больничными крышами, над кронами каштанов Ботанического сада, над каминными трубами – в грязном тряпье туч сухо ворочается гром. Эти поддельные грозы, душные, томящие, навзничь лежащие на город, вдавленные сырой мякотью в цинк карнизов, в шпили, кресты и антенны, состоят в прямом родстве с Жюли. Они тоже никогда не раздражаются ливнями, никогда не переходят в яростное шипение струй, в рев водостоков, в озон, в обновление, в солнечный блеск, в опьяняющую свежесть – словно тебя вырвало, свалив столик, из-под навеса городского кафе и швырнуло на берег океана под крик чаек, под ветер, ласкающий захлеб, под рваные, под углом атаки несущиеся над волнами тучи...

Этот город и эта женщина не знают катарсиса.

Я мечтаю забраться под душ и смыть позор нашего соития, слизь нашей нелюбви.

Где-то хриплой птицей кричит встревоженный телефон. Где-то подгорает хлеб. Где-то включенный на всю мощность отстреливается тяжелыми очередями телевизор. Я пытаюсь выбраться из Жюли, из ее мягко пульсирующего теста. Но она лишь отчаянней вжимается в меня. Мы боремся на расползающихся простынях, как два преступника под перепиленной решеткой окна. Ее ногти вспарывают борозды на моей спине. Ее волосы душат меня. Она шепчет чудовищные слова, которые я слышал лишь в кинокомедиях. Ее зрачки пытаются расшириться. Ей не хватает пяти капель атропина и чувства юмора.

Любовь вытекла из нее, не накопившись.

О, если бы она была честна! Не со мною – с собой! Если бы она была несчастна, грустна и угрюма... Если бы ее трясло в истерике... Если бы от слез распух ее изящный нос, если бы дрожали ее пухлые мягкие губы... Я бы заласкал ее до смерти, до беспомысленности, до полного провала, исчезновения... Но больше всего на свете она боится этого укула правды, боится выдать свое несчастье, признаться в том, что давно умерла, никогда не родилась.

Что убило ее? То первое прикосновение? Стыд? Или еще раньше – страх, помноженный на запрет? Собственное тело, ставшее вдруг чужим и нелюбимым? Быть может, подсмотренное невзначай? Козлоногий пан в капитанском кителе со спущенными бриджами, вбивающий себя, задыхаясь, в маменьку... В растерзанную, всхлипывающую,

давит ровно, с упорством садиста, со всех сторон – сверху и снизу, сбоку и изнутри. Воздух так сперт, что пролет разбуженной птицы под грязными сводами длинной проходняшки оставляет в нем длинную рваную рану. Полицейская парочка на углу Сен-Жермен и улицы Бьевр¹, загороженная решетками барьеров, лениво флиртует. Рукоятка револьвера madame фликесс² приделана к крепкому деревенскому заду, как рукоятка переключения скоростей. Широкоплечий ее напарник, отставив ногу и выпячивая челюсть, кривит, улыбаясь, рот, сдвигая на бок свои патристические усы...

Ступая по ядовито-изумрудным, сиропно-малиновым подтекам рекламы, я медленно бреду к набережной. В дверях полупустого бара, вывалив язык и тяжело дыша, лежит пенсионного возраста овчарка. В баре темно, лишь одна низкая лампа на стене – грубо раскрашенный под галле стеклянный нарост – сочит мутный свет. Возле кассы нервно дергается вентилятор; к ржавой его сетке привязаны длинные лоскуты седого шелка: они вьются на электрическом ветру и шелестят с китайским акцентом. Стойка запотела, но влага не выступает мелкими каплями, а лежит лужицами. Хозяин, явно родственник пенсионной овчарки, то и дело оттирает небритое багровое лицо скомканной зеленой

¹ Улица Бьевр в Латинском квартале, место, где Франсуа Миттеран купил себе дом.

² От фр. “флик” – полицейский на жаргоне. Здесь: “фликесс” женского рода.

салфеткой. Кружка пива, которую он с аккуратным фетровым стуком ставит передо мною, моментально покрывается мелким бисером.

Я пью медленно, вглядываясь в отражение собора в огромном, испариной подернутом зеркале. Нотр-Дам проступает сквозь густеющий воздух ночи скоплением гигантских свечных огарков. *Вера коптит*. Невидимый речной трамвайчик, бормоча на трех языках, высвечивает оба берега зенитной батареей прожекторов. Ослепительно синий свет превращает в мертвецов двух тяжелых, лоснящихся от пота англичанок за крайним столиком, оскаленного вьетнамца в дверях WC, хозяина с отвисшей мокрой губой и вытаращенными глазами. Лес теней ползет по стенам, под углом ломаясь на потолке. Несущийся по набережной мотоцикл, попав в зону огня, вдруг вспыхивает лиловым и исчезает. Чья-то рука скребет мой локоть. Я смотрю вниз и вижу сморщенное лицо немолодого карлика. Он снимает котелок, обнажая неприлично розовую лысину, и усталым жестом протягивает букет вялых роз. Он не француз, этот карлик. Он албанец или турок. У него злое детское лицо.

Я беззвучно шепчу – “No, merci”¹ – и отворачиваюсь.

Огни уходят дальше к набережной Архиепископства, и бар медленно погружается в грязную шевелящуюся тьму. Над Нотр-Дам сухо вспыхивает ветвистая молния, не вся сразу, а, как рождест-

¹ Нет, спасибо... (фр.).

венская елка, по частям и, прежде чем погаснуть, высвечивает низкое растрепанное небо. Я достаю из нагрудного кармана взмокшую двадцатку. Хозяин, поджав подбородок к груди, громко, с хриплым свистом пропуская сквозь бронхи воздух, отсчитывает мокрую сдачу.

На мосту через Сену брюхатая бурой шерсти кошка, вытягивая спину и кося одним глазом, воровато и замороженно смотрит под мост на такую же бурую в свете фонарей бурлящую воду.

Толстяк в мятом льняном костюме, засунув руки в карманы и задрав голову к небу, на ходу высвистывает что-то знакомое.

“Радость” Людвига Ван. Удвоив tempo.

Он проснулся поздно. Сквозь щель разъехавшихся штор хлестало пыльное солнце. Пахло подсыхающей после поливки мостовой, хлоркой, свежим кофе. Целлулоид последнего сна перекошенным слайдом дрожал перед глазами: поворот тенистой аллеи, запущенная растрескавшаяся мраморная лестница, чье-то вспененное платье, гравий дорожки. Столько зелени и такое запустение могли быть лишь там, в богом забытой, светлой памяти дней иных – средней полосе.

Он смотрел на старые балки потолка, на одной был вырезан масонский знак, припоминая: в час был ленч у Ванды. Старая карга, жрица культа Афродиты Монпарнасской, обещала свести его с самим Люсьеном Гаро. Говорят, она была необычай-

но хороша... Как же! До первой мировой! Когда папаша привез ее из Кракова... “Я была, милый мой, как тот самый зефир! Как пастила трехцветная: розово-бело-голубая...”

Он лежал в спутанных простынях, левая рука под головой, в правой – гудящий, как трансформатор – линга. Linga!¹ Конечно же транс-форматор! Из ниоткуда собирающаяся прана, густеющая до прозрачного клея. Склеивать миры. Мир. Дабы не развалился.

Отбойный молоток грохнул из-за невидимой засады. Пыльное солнце стало еще пыльнее. Итак, Гаро – академик, советник г-на Пр., знаток вин и лошадей, бессильный мира сего, клоун со стажем, опекун шаловливых бездельников с улицы Св. Анны². Крупный план: седые волосы, торчащие из ноздрей. Деяния и свершения: проект оказания помощи чукчам, полтора миллиона франков на утепление юрт печурками бретонской фирмы “Заря Капитализма”.

Где его досье? В конторе или дома? Тайный порнограф, создатель жанра chatte-stories³. Инфаркт три года назад. Инфаркт или рак? Звонили из “Монда”. Велели бдеть. Старуха-мойра, нить мохера, дряблой грабкой... То spin⁴... Spinning... Filer...⁵

¹ Пенис, мужской член (*санскрит*).

² Район гомосексуальной проституции.

³ Игра слов от англ. short-stories – рассказы и фр. “chatte” – фр. кошка, арго – женск. орган; в сумме – chatte-stories – эротические рассказы.

⁴ Прясть (*англ.*).

⁵ Прясть (*фр.*).

В этом году книга в “Грассе” – “Аморальное большинство”. Подзаголовок – “Апология усредненной глупости”. Что еще? Европейский парламент, законопроект по борьбе с утренними поллюциями: “Хватит загрязнять среду и четверг!” Лично я больше не курю “каннабис”, я предпочитаю “давидоффа”¹... Чик! Отхватил серебряной чикальницей в меру влажный кончик. Обрезание или кастрация? Обслюнявленный табачный лист. Прошлогодний тур по странам Африки. “Что-то я не вижу эвенок?” Олень под баобабом. Задвиг. Бред. Как перевести – “поехала крыша”?

Он встал, поморщившись от боли в пояснице, с опаской потянулся, подошел к окну, дернул за шнур. Солнце хлынуло, слепя, сплющивая предметы, уперлось в противоположную стену, растеклось. Розовый слон кисти Яковлева стал белым.

На крыше дома напротив, возле трубы, сидел загорелый плотник, уминая семидесятисантиметровый сэндвич. Объективная реальность была украшена пышными облаками и обещала еще одно всеобщее удушье во второй половине дня.

С зеркалами у него были особые отношения. Тусклое в ванной, забрызганное зубной пастой, попыталось подсунуть нечто бейконовское. Вглядываться он не стал. Журчание утренней струи. Песня жаворонка над водопадом. Обмяк. Все-таки свинство. Выполнять две таких разных роли.

¹ Многие эмигранты вместо “в” в конце фамилии ставили и ставят двойное “ф”; так оно ближе к первой эмиграции...

Мерзко един в двух лицах. Ванна была тускло-грязного цвета: уборщица-португалка рожала пятую неделю. Он щедро намылился, стоя под несильным душем, фальшиво напевая: “O dolci basi, o languide carezze, la-la-la...”¹ Дальше он слов не знал.

В спальне зазвонил телефон. Хрен с ним. Ответчик включен? После третьего гудка щелкнул умный, набитый полупроводниками и пылью автоответчик, и голос Жюли низким полухрипом произнес:

– Ты дома? Если дома, сними трубку... – Она помолчала. – Я ужасно спала. Нам нужно поговорить.

Шмяк. Бросила трубку. Comedie Française. Она вечно “ужасно спала”. Невозможно разбудить. И она постоянно хотела что-то выяснить, вывести на абсолютно мутную чистую воду... “Ты меня лю? – Я тебя не!”

Переслать Филиппу открытку в Рим? Пусть оттуда пошлет ей экспрессом. “Прости, уехал, не позвонив. Срочная работа. Финика Моти согласилась на интервью. Take care.² Вернусь через три года. Целую.” Подпись. “Твой.” “Как бы твой...” “Частично и временно твой...”

Эта стерва способна запарковаться напротив подъезда с запасом сигарет на три недели и ждать,

¹ “О, сладкие поцелуи, о нежные ласки...” (итал.), “Тоска” Пуччини, акт третий...

² “Всего”, “Будь здорова”... (англ.).

когда проскользну домой. Shoot me tender, shoot me true...¹

Я знаю, что я не прав.

Он осторожно выбрался из ванной и, встав на охапку грязного, брошенного на кафель белья, потянул с крючка полотенце. Говорят, Гаро носит какой-то знаменитый перстень, подаренный покойному президенту республики самим Чингисханом.

“Мой друг, как-то мы полуночиали с Марком Поло у Кастелло², и я имел неловкость спросить его, откуда этот дивный блеск и лучистая энергия. Маркуша Половский тут же скрутил с пальца этот шедевр, эту тайну, этот источник власти и, несмотря на мои не слишком громкие возражения, на официальные ноты про тесто (и даже угрозы), надел мне его на.

Нынче же, чувствуя, как облетает тощий календарь дней моих, я хочу передать его вам, вручить, просить вас милостиво принять от имени моего и прочих народов и рас, населяющих нашу древнюю – да возьмите же, черт побери!.. Я, Люсьен Гаро, клянусь отныне и вовеки блюсти древний кодекс, древний уголовный кодекс чести и ни при каких обстоятельствах не снимать, не свинчивать с пальца этот кох-и-нор дней моих...”

– Розы или шампанское?

¹ Перифраз песни Элвиса Пресли: “Love me tender” – “Люби меня нежно, люби меня – верно...” Здесь: “ Пристрели меня нежно, пристрели меня – наверняка...” (англ.).

² “Кастелло” – частный парижский ресторан, закрытый для широкой публики.

Он стоял перед распахнутым дверным шкафом, тупо уставясь на затянутый в пластик смокинг, – из петлички торчал засохший цветок гардении.

Перевод Кама Сутры на чувашский или же лилии?

Что приличествует всучить в скрюченные лапы старой ведьмы в дверях лупанария? Дать ей триста франков, пусть купит сама. Ужас! “Разворачивайте осторожно. Капает на ковер. Это моя печень. Собственная. Клеванная Прометеем. Вот здесь – начало цирроза. Сам Цезарь любил подпорченную вишню...”

Он долго выбирал носки. Наконец натянул на бледные городские ноги нечто цвета провинциальной сирени и, бросив на стул мокрое полотенце, уселся пить кофе. Кофеварка была запрограммирована накануне, и вкус у кофе был той самой американской бурды, что подают в любом кафетерии from uptown L.A. to downtown N.Y.¹ – в съедобных, плюс! протеиновых стаканчиках.

Выпил и закуси!

Он, фыркнув, вылил кофе в раковину и потянулся за кофемолкой. Из-за банки “лавацца” пьяным зигзагом шмыгнул в заросли пакетов спагетти рядовой невидимого фронта, родственник богомоллов, ку-ка-ра-ча-та-ра-кан... Кан-кан тара.. Сволочь! Мутант шестиногий! Новое поколение коричневых: живут нынче в отстойниках кофейной

¹ От окраины Лос-Анджелеса до центра Нью-Йорка (англ.).

гуши, в электророзетках, торчат на кофеине в электромагнитных полях!

За тонкой дверью на лестнице слышались спускающиеся шаги.

– Он возвращается в три утра, – глухо ухал голос, – достает ключ, а он ни в какую! Представляешь? Эта блядь поменяла замок!

– Et shit alors!¹ – сказал Борис вслух, наливая в чашку свежий кофе. – Почему я вечно должен выслушивать отвратительные подробности чужих жизней? С меня хватит собственной!

...Хлеб был позавчерашний и крошился. Он окунул горбушку в кофе, размочил, зачерпнув грязной ложкой в банке, полил медом.

Гаро, небось, драит медали на кухне. Старой зубной щеткой с иноксом. Явится, как генерал с мавзолея: “Это за Аустерлиц, это за битву при Березине, это Верден... Чудный крестик, не правда ли? Это..., это когда мы с замечательным Кевином Тайнером подорвали дюжину роммелевских фанерных танков в Марокко. Сказочный был мальчик! Белесый чуб, юные мускулы, ягодицы с ямочками на щеках... Нормандская высадка. Встреча на Эльбе. Эта? Чистое серебро. Отличная работа! Согласны? За мою отчаянную попытку выпасться с существом женского пола... Двести лет революции. Сто девяносто шесть

¹ Французы называют разговорную смесь французского и английского “франгле”. Типичный случай “франгле” героя. В данном случае: Черт побери!

контрреволюции. За взятие берлинской стены. Кремлевской. Китайской стены.”

Он вспомнил, что в шкафчике над плитой есть кунжутные галеты, посмотрел на часы в электронном окошке кофеварки и, расплескав, резко отодвинул чашку.

Досье Гаро, весьма тощее, страниц в пятнадцать, включая газетные вырезки, пылилось в конторе. Можно, конечно, заглянуть в Ларусс, в Британику, в “Кто Кого”, в “Who’s Who”, но нужно было бриться, да к тому же все рубахи были не глажены.

Когда же она разродится, эта смуглая дочь юга, застенчивая и усатая, как молодой Лермонтов?

Думая об усах Моны Лизы, он наскоро соскреб двухдневную щетину и довольный тем, что не порезался и что нашел глаженую рубаху, ловко удушился галстуклом. К Ванде не заявишься в летнем до пупа декольте. Распихав по карманам мелочь и документы, подняв с пола пачку сигарет, закурив, он подошел к окну.

Город лежал в заоконной пропасти, обваренный августом, собираясь закипеть. Все тот же работяга в линялом синем комбинезоне на голое тело, сидя на покато́й крыше старого аббатства, еще недавно бывшего складом окороков, а теперь – Храмом Книги – ковырял пускающей зайчики стамеской чешую кровли. Над контрфорсами собора, над черной средневековой башней, над шпилем и громоотводом

плыл рекламный дирижабль. ФНАК. FNAC your mother...¹

Бросив взгляд на автоответчик, – включен – он взял с полки ключи, подумал о том, что стоило бы закрыть окна на случай грозы, но припомнил ночную духоту и передумал.

Уже в дверях – зевнул и, прислонившись к дверному косяку, затряс головой. Кому это все нужно? Бред. Завалиться спать. Отключить телефон. Заткнуть уши. Включить вентилятор. Устроить ночь.

Время теряет тот, кто не живет во снах...

Он опять зевнул, низкое давление, девяносто на шестьдесят, поправил платок в нагрудном кармане и, пропуская себя вперед, извиняясь, шагнул в открытую дверь.

Клоун. Паяц. Vieux con...²

Под солнечным душем – люк чердачного окна был открыт – сидела чистенькая соседская киса и умывалась. Он почистил туфли о лестничный ковер, вспомнил ночной мост через Сену, бурые воронки воды, голую Жюли на корточках перед рубиновыми огнями стерео и, почесав за подставленным ухом – не следишь за весом, мурлыка, – помчался вниз.

В почтовом ящике среди рекламного мусора – Стригу на дому взрослых, детей и собак! Вы

¹ ФНАК – крупнейший магазин электроники и книг во Франции. Типичная для героя “дурацкая шутка”, *connu joke* (англ.); шутка, “по слабому признаку”. В данном случае, если бы на дирижабле было написано “Обь”, шутка переводилась бы, как: “Обь твою мать...”

² Старый мудака... (фр.)

подозреваете, что ваш(а) супруг(а) вам изменяет? Наши детективы узнают – с кем и как! Лучшие надгробные плиты Иль-де-Франс! Придавит, не шевельнешься! Вечный покой гарантирован! Меня зовут Коллет – я делаю минет... – лежало письмо-предупреждение о неуплате за телефон.

“В случае неуплаты до даты, указанной ниже, вы будете расстреляны по месту жительства агентами Телекома. Будьте добры, не забудьте предварительно расписаться в ведомости...”

Вот здесь! “Прочел и умер”. Подождите, эта ручка не пишет... Спасибо...

Он швырнул конверт назад в почтовый ящик и зло пнул ржавый скелет бесколесного мотопеда, ржавой же цепью прикованного к трубе.

Жизнь – это место, где жить нельзя!

Тяжелая высокая дверь подворотни медленно открылась, впуская шум пятящейся пожарной машины, синие клубы выхлопного газа, мелькающие цветные призраки прохожих.

Августовский полдень втянул его, бесшумно всосал в свое горячее нутро и выплюнул на другом конце города, все еще свежего, но с мокрым пахом и подмышками, возле стенной ниши с надраенным бронзовым щитком и зашифрованным списком жильцов.

Madame N.G. de L.

Господин RRR.

Mlle Z.

A.U., T.E., Y & A.R.

Он нажал на W. S. Дверь послушно зажуужжала.

В мраморном аквариуме подъезда горбатый фавн с электрическим факелом над головой по локоть запустил руку в недра разметавшейся нимфы. Борис поправил галстук у двойника в зеркале, за спиной его, мягко вспыхнув огнями, бесшумно приземлился лифт. Пахло дорогой сигарой. На последнем этаже у единственной двери он ткнул пальцем в выпуклый, с черным зрачком, глаз звонка и только тут вспомнил, что забыл купить цветы.

Очередная Зося или Крыся – Ванда импортировала пухлых польских блондинок вовсе не для лепки клецок – открыла дверь. Ловко закрыв за ним, служанка, стуча лакированными копытцами, виляя крепким задом и тесемками белого фартучка, пошла впереди к дверям гостиной.

Два силуэта темнели на фоне густо заросшего цветами окна. Тяжелые бархатные портьеры обрамляли их, как в театре. На темном этом фоне сизая струйка дыма, дрожа, поднималась к потолку – истлевшая на треть гавана почивала в серебряной пепельнице на круглом столике. На стене среди добротной разномастной живописи висел великолепный поддельный Кандинский.

– Дорогой мой! Ну, наконец-то! – издалека заволновалась Ванда. Как всегда – преувеличенно радостно. И, цепко хватая его под локоть, подставляя вялые щеки, поворачивая его к гостю, она все

той же задыхающейся скороговоркой, вместе с кислым запахом, выдохнула:

– Познакомься, это пан Гаро...

Борис опешил – втроем они протанцевали на середину гостиной – пану Гаро от силы было двадцать пять. С трудом освободившись от железного захвата Ванды, он спросил:

– Что это за калипсо мне открыла? Опять новенькая? И, поворачиваясь к Гаро, – Я представлял вас старше...

– Вы, наверное, имели в виду, – начал молодой человек голосом унылым и томным, но в этот момент зеркальные двери гостиной разлетелись и, ни на кого не глядя, в залу вломился толстый, выше среднего роста, изрядно широкоплечий и сильно плешивый человек. Подтягивая брюки, он пересек голубую в розовых разводах лужайку ковра, извлек из пепельницы сигару и лишь тогда, осыпая пеплом распахнутый, в кофейную полоску, пиджак, горчичного цвета жилет и мятые парусиновые ботинки, повернулся к присутствующим.

– Люсьен, – пальчики Ванды ожили и опять впились в рукав Бориса, голос ее наполнился нежным дребезжанием, – вот наш русский писатель, ты помнишь? О котором я тебе столько... Он собирается...

– Коллега! – протянул пухлую, но цепкую руку, животом наезжая, Гаро-старший. – Рад, чрез-вычайно рад... Давно вы к нам из ваших степей? Сидели мы как-то с Бабелем... В “Ротонде”...

Прекрасно, кстати, говорил по-французски. Бабель... Я его уговаривал остаться... Степи... И он мне говорит, что по весне вся степь у вас так и пылает маковым цветом. Так сказать, опиум для народа в экологически чистом виде... – Так вы пишете? Что же?

– Милейшая Ванда преувеличивает, – не без раздражения улыбнулся Борис. – Я давным-давно в отставке...

– Возможно ли? – спросил Гаро, руки не отдавая.

– Партизанить в литературном подполье еще куда ни шло, на это меня в Союзе хватало. Но вот так – с открытым забралом...

– Вандочка, что он имеет в виду под этим “партизанить”? – спросил академик. – Опять что-нибудь зарезервированное для славянских душ и страданий?

На безымянном пальце левой руки у него и вправду сиял тяжелый перстень.

– Мы все что-нибудь калякали на родине, – сказал Борис, злясь все больше и улыбаясь все любезнее.

– Форма оппозиции, если угодно. Возможность сбежать, не покидая подвала... Да и с чувством вины полегче. Я имею в виду – из-за собственного бессилия: все же действие!

Гаро клешню разжал, не глядя ткнул сигару в подставленную пепельницу, переморгнув, мутным взглядом вопросительно уставился на Бориса. У него были водянистые навывкате глаза, крупного

зерна желтые мешки под ними и густые, во все стороны торчащие брови.

Холестерин, почки, давление...

– Франция – единственная страна в мире, – сказал Гаро-старший, наконец отворачиваясь, – где каждый чиновник и каждая консьержка мечтают написать книгу. У нас особое отношение к печатному слову. У вас, правда, тоже... Мне, например, всегда казалось, что большевистская ваша затея вся вышла из литературы... А? Что вы думаете? Из плохой литературы. Из никудышной... Из ража ваших свидригайловых, записывавшихся в революцию, как в провинциальный любительский театр!

Они стояли теперь у окна, за которым обваренная полднем, плоско и криво, как плохая декорация, уходила вбок Марбеф.

– Я думаю, что... – начал Борис, но Гаро его не слушал. По складкам его лица шли волны. Гаро рябило. Откуда-то издалека доносился голос Ванды, она то исчезала, то появлялась опять, ее передвижения сопровождалась веселыми сквозняками, колыханием штор, запахами кухни.

– Так вы мне не сказали... Откуда вы к нам? С берегов Невы? Из ваших еловых джунглей? – спросил Гаро, доставая золотисто-переливчатый платок и взмокший лоб отирая. Расфокусированные глаза его медленно набухали грустью. Ишемия? Дышит с присвистом. Не хватает энергии. Вверх-вниз. Живет перебежками.

– Из Москвы.

– Давно?

- Скоро тринадцать.
- Собираетесь возвращаться?
- Может быть... Впрочем, вряд ли... Куда?

Стол был накрыт в соседней комнате, по южному выбеленной, с прозрачной солнечной шторой, с бледными охровыми пейзажами Прованса в тускло-золотых барочных рамах. Сияло серебро чайников и канделябров на комодке, сияли приборы на столе, завиток венецианского зеркала в улитку закручивал крошечную ультрамариновую радугу. По застекленному фотопортрету Ванды – тридцать лет, шезлонг южной виллы, лист винограда и Грегори Пек, вылезаящий из бассейна, – ползла пчела.

Вошла Крыся-Зося, неумело, с плохо скрытым выражением ужаса на личике, неся фарфоровую супницу с гаспачо.

Лед глухо звенел, звенели подвески люстры на горячем сквозняке, шуршало платье Ванды. Борис, разворачивая накрахмаленную салфетку на коленях, сквозь танцующие пятна света на стене увидел вдруг выгоревшее поле ржи, дрожащий силуэт фермы, одинокое облако в бледном небе, и в ноздри ему ударил запах дорожной пыли и деревенских цветов. – Чешир, – наехало слово. Подобные наслоения происходили с ним постоянно. – Двойная экспозиция, – сказал бы Ким.

Салфетка под тройным подбородком, глаза как два свежих плевка, друг знаменитых мертвецов, со-

ветник министров и банкиров, секретарь комиссий по распределению и оказанию, владелец правого журнальчика левого направления Люсьен Гаро посредством серебряной ложки вливал себе в рот свернувшуюся кровь гаспачо.

– Мне говорили, – хлюпал он, не отрывая глаз от тарелки, – что в анналах вашей словесности существует некая порно-поэма удивительных достоинств. Он отерся салфеткой, раскрошил хлеб и вдруг окаменел, припоминая.

– Лукас Щи? Мука Льдищев? Статский советник... Юсупов мне переводил... Клод Ле Пети – ребенок по сравнению! А какой гротескный юмор!

Не дожидаясь ответа, он продолжал:

– В молодые годы я издавал с приятелем эротическую серию *en octavio* с рисунками монпарнасских друзей. От греков...

– До варягов, – закончил за него Борис.

– Не понял? – задрал густую бровь Гаро.

– Люсик, – встряла Ванда, – Борис твой неистовый поклонник. Ты же знаешь, как тебя ценят в России. Он давно мечтал с тобой познакомиться и расспросить о..., для...

– Ага... – поднял ложку Гаро. Знаменитый клоун, придурковатый скоморох медленно просыпался в нем. Пудра и блески сыпались в тарелку и на скатерть, конфетти и обрывки серпантина... Меж лопаток его, прорастая, надувался горб. – Ага!

– Тем более, – продолжала Ванда, при каждом слове дергая головой. – Скажи сам! – повернулась она к Борису, но тут же продолжила: – Тем более,

что он пишет о тридцатых годах. О Тцара, Андре, о всей вашей банде... Я ему говорю: расспроси Люсьена...

Гаро положил ложку, поднял лицо и, недовольно посмотрев на Бориса, потянулся за вином. Скопив глаза, он уставился на этикетку. Chateau Cheval-Blanc. Семьдесят седьмого года рождения. Наверняка осталось от какой-нибудь пирушки. Сама Ванда ничего крепче минеральной не пила.

Гаро осторожно поставил бутылку на место и, разглядывая с колен на пол соскользнувшую салфетку, показал Борису загорелую плешь:

– Что ж, конечно... К вашим услугам. Чем быть... Чем могу...

Из бархатных подушек видный Борису через зеркало дивана глухо завопил телефон. Крыся-Зоя, наклонившись над аппаратом, выставила розовые ляжки и кружева исподнего. Господин Гаро, выпрямившись и мощно жуя, через второе зеркало, глядя не отрываясь туда же, куда и Борис, морща лоб, словно пытаясь вспомнить забытое, продолжил:

– Валяйте, не стесняйтесь. Стариков нужно атаковать в лоб. Если с флангов – они валятся на пол.

... Хлебную золотистую мякоть винной кровью запивая.

Борис неловким движением выложил нагретый в руке “олимпус” на скатерть.

– Я хотел бы..., – начал он. Но Гаро остановил его, подняв руку.

– С Бретоном мы разругались еще до войны. Из всей этой кофлы остался лишь Супо. Кто именно вас интересуется?

– Эрве Вальдбург...

– *Bien joué...* Не помню, кто сказал – “life is a sigh between two secrets”¹. По нашим мерзким временам я бы переделал бы это на – “a uawn between two secrets...”² Хотите – с этого и начнем?

– Госпожа, – по-польски сказала служанка, не разгибаясь, – Никола спрашивает, не оставил ли он в спальне записную книжку?

– Я посмотрю, – так же по-польски ответила Ванда, вставая. Никола – был Гаро-младший.

– Есть много способов давать уроки русского, – подумал Борис. – Правда, это ограничивает словарь. Однако *quel courage!*³

На подоконник за танцующей шторой с треском сел голубь, втянул короткую шею и тут же, крылоплеская собственному страху, улетел.

“Смерть всегда приходит не вовремя...”

“Excuse me!”⁴ Я кажется не вовремя?..”
Строчка на синем экране тошибы мигнула и замерла. Борис, не глядя, достал из-под стола бутылку “виши”, отпил большой глоток. Самое труд-

¹ Жизнь – это вздох между двумя тайнами. (англ.).

² Зевок меж двумя тайнами... (англ.).

³ Какая храбрость! (фр.).

⁴ Простите (англ.).

ное – первые три строчки. Всегда одно и то же. “Эрве Вальдбург, известный под псевдонимом Люсьен Гаро, покинул нас в расцвете сил.”

Все они покидают нас в расцвете сил. Даже в сто лет. Как только силы их расцветут, так они нас и покидают. Нет чтобы написать: “Редакция счастлива сообщить, что еще один полусгнивший мудака покинул нас навсегда. Освободил место...” Или: “Радость переполняет в эти дни сердца интеллектуалов и истинных друзей Искусства – еще один маразматик свернул себе шею на благословенном крутом повороте А76 возле Кассиса. Мир долгожданному праху его!”

Впрочем, начало не имеет значения; редакция все равно выкидывает начало и конец.

Люсьен Гаро, друг молодых лет Эрве Вальдбурга, был беден, горд и красив как бог. Он пустил себе пулю в лоб в юном возрасте 16 лет, и Эрве издал первую книженцию, подписавшись – Люсьен Гаро. “Я имя спас твое!”

Борис зевнул. стакан вина в обед и – день насмарку. Единственное, что остается, – сиеста. Позвонить Жюли? Жюли-ковато извиняясь. “Я был мерзок вчера. РМТ¹. Нет же, уверяю тебя, ты тут ни при чем...”

Увы, ты всегда ни при чем... Как не бьюсь я над тем, чтобы ты была при чем... Над тем, чтобы ввергнуть тебя в мой комфортабельный ад –

¹ Pre-menstrual tension – синдром предменструального напряжения (мед.).

все напрасно. Кич. *Cauchmarvellous!*¹ Твое дивное отсутствие наполняет меня день и ночь.

Назад к нашему барану. За что ты его не любишь? За флирт с Гуталином?

“Родившийся, словно повинуюсь замыслу невидимого сценариста, в первый день века, в семье эльзасского магната и венгерской аристократки, он рано потерял родителей.” Родившийся в рубашке, в чужой рубашке, с ложкой в зубах, серебряной ложкой, вилок... *mais ça va pas?*² Родившийся в рубище поэта. Мамаша Гаро, рожаящая старичка Эрве-Люсьена, маленького, сморщенного, но в костюме, застегнутом на выпирающем пузе, с сигаркой в мокром кулачке, со стаканчиком имперской мандариновой... Оба тужатся, мамаша в папильотках, заливающая академика голубой венгерской кровью...

“В те давние времена, известные сегодняшним читателям лишь по выцветшим сепиям открыток, автомобильная катастрофа была действительно происшествием, тем более, если она имела место в пустыне Гоби. Дядя осиротевшего Вальдбурга-Гаро, безвылазно живший в сырой Серениссиме, прочно забытый романист Юго Краушнель, писавший на политические темы под псевдонимом Юго Мрак, занялся воспитанием мальчика.” Сноска: развращением. Старая тетушка Юго, пытающаяся загнуться в Венеции по сценарию Т. Манна.

¹ Личное “франгле” героя; смесь двух слов “кошмар” и “чудесный”...

² Здесь: ты спятил? (*фр.*).

“ O dolci basi... ”¹

Похоже на фарс, на фарш, на то, чем фаршируют память об умерших оставшиеся временно жить.

Не грусти, мой милый. Все там будем. Просто твой поезд уходит раньше...

Непроверенные факты не печатаем.

Он закурил, тупо уставясь в окно. Над Люксембургским садом сгущались, друг на дружку напозая, громоздясь и карабкаясь, густо-свинцовые и нежно-голубые тучи. Но потускневшее солнце пока что светило всем.

Хорошо бы все же закончить хотя бы черновик. И получить малость пшеницы. Du ble...² Капусты. D'oseille.³ В банке была черная дыра размером в пять с чем-то тысяч. Налоговый взнос не заплачен. За Secu⁴ – тоже. Японский бог! Жизнь или Кошелек? Ни жизни, ни кошелек! Оттяпают голову по самые уши зазубренной гильотиной во внутреннем дворике особнячка Tresor Public...⁵

Лишь за квартиру и свет иногда платят некоторые немолодые повесы, покупающие себе рубашки у Гучи по полторы тысячи за штуку... Контора же принадлежала приятелю, свалившему на Мартиникау на год и разумно оплатившему счета вперед. Оплатившему что? Это же его родная соб-

¹ Та же цитата из “Тоски” (*итал.*).

² Пшеница, на жаргоне – деньги (*фр.*).

³ Щавель, то же самое – деньги (*фр.*).

⁴ Сокращенное от «социального страхования» (*фр.*).

⁵ Государственная казна (*фр.*).

ственность! Бывшая книжная лавка бывшего па-паши.

Назад к нашим блеющим и блюющим. Первые стихи в четырнадцать лет. По-итальянски, вестимо. Первая книга в пятнадцать. Первый триппер в том же году. Пан Костровицкий был на двадцать лет и три месяца старше. Мэтр. Сантимэтр. Saint Maître...¹ Водил Люсьенчика по Парижу. Вечно с фунтиком липкой миндальной турецкой халвы. Орехов в шоколаде. Рассыпчатого *sablè*.² Показывал непристойные гравюры в своей кривобокой комнатухе на втором этаже особнячка на улице Бак. Там, где поливает теперь розы жена городского главы. Возил к польской мамаше в запущенный пригородный домишко: тяжелые бархатные шторы, как в борделе, душный запах застоявшихся лилий, зеркала, отражающиеся в зеркалах, заросли кресел, столиков, абажуров, безделушек, янтаря, нефрита, слоновой кости, бронзы, графинчиков кровавого хрусталя, рюмочек хрусталя ультрамаринового, вывезенного еще из Монако... Стоп! Без эхоталии, please! Затем фронт. Вильгельм-Альберт-Владимир-Александр-Аполлинарий Костровицкий-д'Аспермон, он же Дульчинья,³ – на южном, шестнадцатилетний доброволец Гаро – на северном.

¹ Святой мэтр (*фр.*).

² Песочное печенье (*фр.*).

³ Гийом Аполлинер родился вне брака и был сначала записан под условным именем Дульчиньи.

Взять белье из прачечной. Грузный Аполлон ранен в голову. Молодой фавн – гораздо ниже. Ритмическая проза. Окопная вошь. Сандрар, тлеющий любовью к большевикам. Как повяжешь галстук, береги его. Он ведь с красной рыбою цвета одного. Бахчанян. Селин и селениты. Костровицкому – медаль и подданство. Гаро – санаторий возле Лозанны.

Грянул телефон. Борис, сбив на пол словарь, схватил трубку. Голос его дал кривую трещину, он прокашлялся.

– Извини... Привет! А? На когда? Сегодня? До шести... Лучше, если пришлешь курьера. У меня на него есть страниц пять, но нужно проверить. В общем-то через час могу. От чего он загнулся? И никто не знал? *Aut bene, aut nihil...*¹ О'кей, шли Гермеса. Если контора закрыта, я рядом – в “Маленьком Швейцарце”. Постой! За Сваржинского мне до сих пор ни шиша. Не заплатили... В апреле. В конце. Не забудь. Чао. Привет Жаклин.

Он повесил трубку. Твоей милейшей Жаклин. Запри ее в шкаф. Запрети ей носить декольте. За околицей кормилица метет... Юбками. Снег. Жаль, что она твоя сверхзаконная *esposa...*² Уфф...

Он встал, крикнув от боли, пнул плетеную мусорную корзину, хрустнув ключом, выдвинул

¹ О мертвых либо – хорошо, либо – ничего... (*лат.*).

² Жена (*исп.*).

верхний ящик несгораемого шкафа. Достал дискетку, зарядил в компьютер. Гранон Жан-Люк. Нормаль Сюп. ЭНА.¹ Специальный поверенный Жискара по Дальнему Востоку. Двухтомник в Дэнноэле. “Полупроводниковый Дзэн”. Сноски во втором томе на “Камни и корни” Пильняка. Скандал во время избирательной кампании в Реймсе. Курс лекций в Йеле. Йеле-йеле дотянул до конца... Консультант Рендом Корпорейшн. Намек на. Распечатать гелъветикой. Интервал – 2. Заглавие. Без заглавия. Деление страниц. Oui. Щелкнул принтер. Поползла бумага. Дату проставят сами. VIP² - HIV.³ Занавес.

Сгонять на массаж. Проклятая спина. В левой ягодице – ржавый гвоздь. Пирамидальные мышцы. Psoas. Доктор Дуонг. Игломучительство. Страдания Святого Себастиана. Прошейте меня на швейной машинке. Больше всего под коленку. Иглы, свисающие с ушей, носа и лба. Время от времени осыпающиеся, как с сухой елки.

Или в бассейн?

К пяти он закончил три странички о Коблеце, начатые на прошлой неделе. Коблец вылетел из министерства тяжелого ничегонеделанья за махинации с фондами. Старая гвардия. Свои же и заложили. Пил кровь стаканами. “Иосиф Виссарионович,

¹ Нормаль Сюп, ЭНА – два высших учебных заведения Франции, формирующих элиту страны.

² Very Important Person – аббревиатура, принятая в дипломатических кругах: Личность Большой Важности (*англ.*).

³ Аббревиатура вируса СПИДа.

еще по стаканчику второй группы?” Ездил вместе с Хрущевым в Штаты. Развязывал ему шнурок на штиблете, ползая под столом в Объединенных Нациях. “Готово, Никитсергеич! Операция “Кузькина Мать”. Выкинули сначала на пенсию. Дачка с участком размером с Макао. Холодильник набит лет на пятнадцать вперед лососиной и сервелатом. Теперь отобрали и дачку, и холодильник. Отдали Макао блудливым школьницам под заповедник свободной любви. Гоп-стоп, Зоя...

Вопрос: куда дели лососину и сервелат?

Загнется месяца через два. В этом возрасте они не выживают. “Еще один свидетель свирепой эпохи отправился к Гадесу с зашитым ртом и распоротым брюхом”.

С Гаро была заминка. Старик упирался. Дрыгался, отбивался костлявыми ногами, не желал укладываться под полосатую крышку увесистых строк. Necros – мертвый, logos – слово. Мертвое слово о мертвом. Назарянин был истинным революционером: пусть мертвые погребают своих мертвецов! Self-service!¹

“Я мог бы вступить в профсоюз кладбищенских работников, – вдруг подумал он. – С какой стати платить взносы этим козлам в союзе журналистов?”

“Смерть в кредит” – братья Архангельские. Эти кладбищенские конторы вокруг больниц. Страшно обнадеживает, когда прешь к эскулапу.

¹ Самообслуживание (англ.)

“Добрый день, почему нынче места? Где-нибудь в тиши пригородной? – Ага! – Сухо? И тихо? Никаких сточных... Ценнейшая информация! I’ll be back.¹ Я за анализами, здесь за углом. На обратном пути – заскочу. Вам так же. Всех благ... До скорой смерти. Чао!”

В Москве были три неразлучных друга: Гробман, Трупман и Могилевский.

За окном лениво начал накрапывать мелкий дождь. “В те предвоенные времена всеобщей смуты и он не избежал соблазна Иллюзии”. Del² – стерк чертям строчку! Тайно старик был цвета вишневого варенья! О чем говорить! Мой паровоз, вперед лети! Но puzzle³ не складывался – торчали брови, вылезал локоть льняного пиджака. Не шло. Слишком много было имен. Наград. Взятых небрежно, мимоходом, высот. Шампанского. Черной икры. Телеграмм от министров. Великолепного юмора. Интеллектуальных заговоров. Интрижек. Слишком много сплетен о нем, о Гаро, о Люсьене, о грузном скоморохе, “властвующим шепотом...”

Он позвонил Франсуаз. Ее не было дома. Анне. На Корсике. Лидии. Автоответчик. Salore⁴! Запер шкафы. Опустил алюминиевую штору. Ввалился моторизированный эрмий: мокрый шлем с опущенным забралом, сапоги с крылышками. Бо-

¹ Я вернусь (англ.).

² Стереть (компьютерн.).

³ Игра, в которой нужно правильно составить образ из разрезанных элементов (англ.).

⁴ Сволочь, шлюха (фр.).

рис отдал запечатанную манилу¹, включил сигнализацию, и в это время зазвонил телефон. Одной рукой хватая трубку, другой поворачивая ключ сигнализации в нейтральную позицию, он рявкнул:

– Пронто!

– Здесь Гаро, – сказал голос. – Я в Липпе. Не пропустить ли нам по стаканчику?

Он вышел на улицу. “Маленький Швейцарец” был закрыт. Рабочие возле дверей театра загружали в огромный трак сосновый лес и плоское ртутное озеро. Сквозь темную решетку Люксембургского сада, сквозь густую листву платанов дымным шевелящимся веером опять било августовское солнце.

– Я вас вычислил, – улыбался Гаро. – Вы из породы черных воронов; вам бы контору в склепе на Пер-Лашезе открыть!

– Поль! – прохрипел он весело, – повтори нам... Надеюсь, вы не обижаетесь?

– Я не из обидчивых, – Борис мотнул головой. – Мне в юные годы объяснили, что обижаются горничные да приживалки... Ванда вам нашептала?

– У меня свое КГБ, – Гаро хмыкнул. – Morris Z. – это вы?

Борис кивнул: – Я...

Усатый Поль с широкой взмокшей спиной и

¹ Конверт из плотной, коричнево-табачного цвета бумаги.

темными подмышками на ходу выпустил из правой клешни две глухо звякнувшие рюмки пюи.

– Один из нынешних кумиров наших издателей, тот самый, что изобрел одноразовую, как презервативы, литературу – *les livres jetables!*¹ – говаривал мне еще до войны, что в эмиграции (а он сам сын эмигранта, о чем практически никто не знает) так и тянет на псевдонимы... Мол, эмиграция как способ существования уже вторична по отношению к первой, изначальной жизни, и переселенцы либо с неимоверной силой держатся за свои имена, либо с необыкновенной легкостью, бравадой, со страстью даже отказываются от них: от имен, от биографий и...

– От прошлого... – закончил за него Борис. – На счет одноразовой – трудно согласиться. Она всегда была одноразовой. За редкими и счастливыми исключениями...

Помолчали. Одета в черное молодая женщина за руку проволокла упирающегося карапуза. Тот пыхтел и отворачивался. Серебряный воздушный шар, упруго лупя по головам прохожих, тащился за ним.

– Оно, конечно, приятно, – вернулся к первой теме Гаро, – что мастера эпитафий пробуют на твоём все еще живом теле свои электроножи, но я бы вам предложил кое-что почище...

– *Na zdrowie!* – поднял он рюмку. – *Za mir!*... – поддержал его Борис.

Гаро пригубил вино, губы его мокро заблестели.

¹ Одноразовые книги, те, которые, прочитав, можно выбросить (*фр.*).

– Mon cher ami,¹ – сказал он, – дайте-ка я вам напишу сам. А? Что вы об этом думаете?

Борису стало весело. Почему бы и нет? Кукиш судьбе. Под зад старухам мойрам! Тысяча строк с того света...

– Согласен!

Гаро, крикнув, привстал и, перегнувшись через столик, хлопнул его по плечу.

– Великолепно! Я ваш должник! Когда нужно?

Борис с трудом сдержал разжавшую челюсти неприличную улыбку:

– Золотое правило – не откладывать на завтра... Чем раньше, тем лучше.

– О, я понимаю!.. Гурджиев, к которому в Фонтенбло возил меня один удивительный балетный кузнецик, любил разъяснять, как отложенное на завтра крадет энергию у сегодня. Как видите, у меня было много русских друзей, но как я ни старался, а такой момент был, мне все же не удалось заразиться ни вашим мрачным панславянским фатализмом, ни вашей слезливой сентиментальностью...

– В те времена, – продолжал он, – а было это до войны, я был зол на папу римского, на далай-ламу, на патриарха константинопольского и на всех остальных торговцев вибрациями... И вашему армянскому дервишу из Шато де Приер тоже досталось... Каждому, кто обладал даром левитации, я предлагал немедленно вступить в военно-воздушные...

¹ Мой дорогой друг (*фр.*).

– Вообще-то он грек. Его предки носили имя Горгиадес. Это позднее они стали Гурджиевыми...

Гаро достал потертую кожаную сигарницу, вытащил «черчилля», облюнявил и, не глядя, серебряной гильотинкой отхватил кончик.

– Два года назад меня уложили на бильярд. Отхватили изрядно гнилой кусок. Зашили. Через три месяца все анализы были как у призывника. Я не думаю, молодой человек, что вы на мне заработаете свои полторы тыщи раньше, чем лет через десять. Я вожу машину так медленно, что с трудом за день добираюсь до Рамбуйе. Мой холестерин, к зависти обжор, это чудесный и незлой HDL¹...

Борис покосился на сигару.

– А! Здесь вы правы, но.., – он округлил губы, хлюпая, втягивая дым, выпустил душистую струю, – ничего не поделать! Однажды я бросил курить на полгода. За шесть месяцев я не написал ни строчки. Перо мое рыло и дырявило бумагу, ноль! А для нас, грешных, как вы знаете, главное – слова! Для большинства жвачных – есть и пить. Совокупляться. Спать. Но для нас это – писать. Это – наша каторга, *notre baigne*²... Перефразируя известного зануду, который в забегаловке напротив оставил немало су, для нас “рай – это другие”. И мы туда не просимся, не так ли? Нам и в нашем аду хорошо! Кстати, все же вы зря забросили перо... Оно вернется, а? Бумерангом! Копьем!

¹ Здоровый, «хороший» холестерин (англ.).

² Наша каторга (фр.).

– Наверное, мне нечего сказать. – Борис поднял, разглядывая, запотевшую рюмку. На мгновенье Гаро ему стал неприятен. – Все, наверное, уже сказано. Когда видишь эти горы новых книг – тошнит. Ощущение такое, что.., – он замялся, ища французские слова. Гаро слегка наклонился к нему, как бы помогая. – Слово составляется планетарная опись имущества: “Чистильщики Ботинок Пяти Континентов. Заговор Айсоров”. Или – “Боль – мемуары дантиста”. Сам видел! “Quo Vadis¹ – путеводитель по тропам Тибета”. Еще? Я ужасный ерник... Не знаю, как перевести...

– Люблю русские слова: спутник, йерник! Американцы запихнули своих битников в ваши сапоги!

– Меня все время заносит... Один знакомый умник утверждает, что это попытка опять слепить все слова вместе. В одно общее мычание... Но, дабы закончить о книжных развалах... Видимо, когда будут написаны последние строки о самой последней вещи, о самой последней, до того не описанной трущобе, о самой забытой из всех зал, последнего в списке дворца, – тогда-то и настанет конец мира. Конец инвентаризации. Так на кой дьявол писать? Тем более, что когда у тебя русское имя, от тебя ждут лишь еще одну вариацию на все ту же тему – l’ame slave².

– О, вот уж, дорогой, тема без вариаций!

¹ Куда идешь? (лат.).

² Славянская душа (фр.).

– Именно! Я даже назвал в свое время одну книженцию...

Но Гаро его перебил:

– Эта ваша злость! – рычал он, явно наслаждаясь.

– Отравленность! Видите, эта ваша тема без вариаций и сейчас в действии. Так сказать, сверхдраматизация всего и вся. Я об этом в свое время много думал. Это, несомненно, от вашей географии. В ней-то, как белая козочка, и заблудилась ваша история... Слишком много пространства. Нужно все сверхдраматизировать, чтобы хоть как-то удержать, зафиксировать. Я так себе и представлял всегда карту России: все сползает, расплзается – нужны дикие усилия, чтобы выжить...

– Я, скажем, француз, хотя какой я француз! – медленно, но с какой-то старой страстью, которая, видимо, его самого теперь удивляла, продолжал старик. – И все же – я знаю, вернее, я чувствую: на машине до швейцарской границы, забудем про мой способ вождения, четыре часа. До Этрата – два с половиной. До Ниццы – десять... Я их ощущаю – не знаю чем! – границы. И в них-то все и заключается!

– Культура создается напряжением внутри пространства, – мягко хрипел Гаро. – Это называется – форма. У нас, быть может, как некоторые уверяют, меньше содержания, чем у вас, но у нас есть форма. А это сжатие, конденсация, вольты, напряжение... У вас же ваше избыточное, ваше дикое содержание носится, как перекасти-поле, от Китая

до Балтики... Прав я? И толку от него, от беспредельного – шиш! Напряжения внутри границ нет! Вот вы себе и придумываете веселую жизнь, поднимаете вольтаж идеями, идейками, которые Европа выбрасывает на пустырь, на помойку... И повторяю: от отсутствия границ, от распахнутости – вся ваша сверхдраматизация и ваш фатализм! Нужно же хоть чем-то, хоть как-то удерживать вся и все на этой плоскости! Не то ведь сдует!

– И я больше скажу! – старик не унимался. – Ваше безудержное воображение, ваши русские фантазии – тоже отсюда. Вы не живете, а о другой жизни мечтаете. Вперед, в прошлое! Назад, в будущее! Оттого-то вы нас за нашу обыденность да конкретность либо презираете, либо завидуете, да сделать ничего и не можете... Тут уж я – зол. Не дуйтесь на меня! Я тоже пытался питаться иллюзиями. Заплатил дань веку.

Напитанный радужным дрожанием вечер чернел у Бориса в глазах. Все, что говорил Гаро, он знал наизусть, почти в тех же словах и образах, до всего дойдя самостоятельно и выводами этими раз и навсегда отравившись.

– Что ж касается заядлых привычек, дорогой мой, я вот ни курить, ни писать бросить не могу, – услышал он сквозь не желавший рассеиваться флер. – И то, и то пробовал. Думал, в ваши годы, что жить надо *en direct*¹, действовать, менять мир, а не мусолить палец. – Гаро говорил теперь отры-

¹ Жить напрямую... (*фр.*).

висто, задыхаясь, – прогулка по российским степям явно утомила его.

– Мне остановиться помог случай, – сказал Борис не совсем своим голосом, слабо прислушиваясь к происходящему внутри. Из абсолютного ничего, из раздавленной визжащей тишины на него надвигался клубящийся цунами тоски. – Истеричка, – сказал он сам себе, вливая в горло холодное, смородиной отдающее вино.

Гаро вытащил из кармана мятого льняного пиджака, висевшего на плетеной спинке кресла, небольшую книгу и, показав Борису обложку, положил в лужу на столе. – Нашел напротив, – сказал он, – вот на это Ванда навела. Послушайте старого маразматика, вернитесь в лоно, бросьте некрофилию. Хотите немного свободы? Пиний и *pasta con futta di mare*?¹ Отправим вас на виллу Медичи, дадим стипендию. Или в Испанию, на побережье?

Борис посмотрел старику в глаза. Гаро был серьезен. Сигарный дым полз по его лицу вверх, лицо клубилось, не хватало венка и рожек.

– Жарко, – сказал Борис. – Дождя бы, снега.

Сен-жерменская толпа текла вяло, машин почти что не было, какой-то тип шагов с десяти пытался сфотографировать Гаро, за соседним столиком говорили по-американски.

– В августе мертвый сезон? – спросил Гаро, опять подзывая Поля.

¹ Спагетти с креветками и мидиями... (итал.).

– Сезон мертвых в феврале и апреле, – ответил Борис. – Мрут как мухи. Всех возрастов и званий. В августе – самоубийцы. Между Рождеством и Крещением – тоже. Но в сентябре, октябре делать нечего. Разве что автомобильные аварии. Спид.

– А на бывшей родине?

– Тринадцать месяцев в году. Без различия сезонов и учета перепада гормональных уровней. Вчера был здоров, завтра несут отпевать. Особенно нынче – сплошной Бейрут. Политика, знаете, там совпадает с биохимией крови – *le pays des radicaux libres...*¹ Хотя от инфаркта и рака больше не умирают, а лишь от отчаянья, от зависти. И все больше – от ненависти.

– Назад не тянет? – перебил Гаро. – В потерянный рай?

– Боже упаси! – хмыкнул Борис. – Хотя по ночам все еще путешествую.

Но Гаро окликнули, и он грузно повернулся, чуть не опрокинув столик. Рубаха его вылезла из брюк, обнажив серую нездоровую кожу.

– *I just don't want anything,*² – голосом, предвещавшим скандал, начала за спиной Бориса невидимая американка.

¹ Страна свободных радикалов (*фр.*); свободные радикалы – крайне агрессивные молекулы с потерянным электроном, ведущие к старению ткани и, в итоге, к болезни и смерти; в политической жизни свободные радикалы так же способны спровоцировать негативные процессы.

² Я просто ничего не хочу (*англ.*).

– Anything! Nothing! Good Lord, after all those years...¹

– Я вас покину на минутку, – крикнул Гаро, вставая. – Не думайте сбегать. Пойдем ужинать в “Оранжевую”. Я приглашаю. Будет Джон Ашберри. Вы знакомы с Ашберри?

– Знаешь, кто начнет третью мировую? – спросил пробирающийся меж столиков худой, рыжим волосом заросший тип в “бермудах” и высоких “найках”. Через плечо у него были перекинuty шнурками связанные ролики.

– Кто? – спросил его приятель с лицом широким, как азиатская луна.

– Китайцы? Багдадский вор?

– Не угадал! CNN! А кто выиграет?

– Я думаю, никто, – надул щеки, вступая в фазу потного полнолуния, приятель... – Американцы? Русские?

– Мимо! Nulle! Это же ребенку ясно – CNN!

Борис перевернул промокшую книгу, отер салфеткой обложку, раскрыл на первой странице, достал ручку. С грохотом промчался мимо столика выводок пацанов на скэйтх. “Люсьену Гаро, – написал он крупными буквами наискосок, – от профсоюза перевозчиков верховий Коцита. Не спешите!”

Книга называлась “Thème Sans Variations”².

Ему было четырнадцать лет. Он стоял в кус-

¹ Ничего! Боже, после стольких лет! (англ.).

² “Тема Без Вариаций” (фр.).

тах под чертовым колесом в пустом и холодном Парке культуры, расстегивая пуговицы темно-синих, из дедовских перешитых брюк. Колесо, скрипя, ползло, царапая небо, по серым, как старое одеяло, тучам. Промокшая аллея уходила вбок, к ракушке эстрады, ударники труда кривили губы с Доски почета. Дукатина прилипла к губе, табак был кислым. С набережной приближалась ватага ремеслухи: кепари, надраенные пряжки ремней, тяжелые бутсы. К ритмичному скрипу прибавился новый звук – собачий, подвизгивающий – огромное колесо, скрипя, остановилось.

Зажглись фонари, небо сразу придвинулось, потемнело. С реки тянуло гарью, машинным маслом, сырым камнем. Молоденький лейтенантик с полногрудой теткой лет тридцати спускались по деревянным ступенькам. В небе они были одни и теперь, на земле, шатались, как пьяные. Борис стоял в кустах за бетонной опорой, между перевернутой урной, из которой, как из рога изобилия, хлестал заплесневелый мусор, и густыми кустами черной мокрой сирени. Он расстегнул три пуговицы, но теперь не знал, что делать. Шпана, свернув с набережной, надвигалась на парочку. Лейтенантик был хилым, видно из недавних студентов, шинель на нем была подогнана кое-как и выгибалась на спине горбом.

– Эй, полковник, закурить нет? – как и положено, подвалил самый младший, лет десяти. Лейтенант полез в карман, не отрывая глаз от заходивших слева и справа парней.

Самый старший из парней, худой, как нож, с приличным рубильником, с огромными красными кистями рук, голо торчавшими из рукавов синего бушлата, пошел прямо на тетку. Лейтенант, сыпля под ноги сигареты, повернулся к нему, нарвался всем личиком на огромный кулак и тут же был обступлен остальными и притиснут к стене.

– Твоя баруха? – спросил кто-то. – Чо, забздел? Пехота!

Быстро смеркалось. Небо из темно-серого, асфальтового, превратилось в лиловое, в фиолетовое. Опять начало накрапывать. Дико хотелось отлить, но Борис боялся шевельнуться. К старшему теперь присоединились еще двое. Втроем они возились с теткинм плащом, что-то сдирали с нее, мяли, тянули... Мелькнуло ее лицо, обращенное к лейтенантику, перекошенное, с размазанной губной помадой, со слезшим на одно ухо беретом.

Один из парней, закинув к небу голову, пил из бутылки, кадык его, заросший темным волосом, ритмично ходил вверх и вниз. Тетка вскрикнула, в темноте мелькнуло что-то голое. Из месива спин показался задыхающийся лейтенантик, раздался тяжелый мокрый звук, и он исчез.

– Да постой ты! – раздался вдруг голос тетки – на удивление молодой, мягкий и не злой. – Дай! Ей протянули бутылку водки, она отерла горлышко ладонью и отпила большой глоток. Один из парней нагнулся к ней. Вытянув руку, отпихивая его, она быстро приложилась к бутылке

опять, спеша и захлебываясь. Водка текла по ее подбородку и шее. Ее неловко завалили.

– Сволочи вы, – раздался ее задохнувшийся голос, – сучье племя, кóзлы...

Лейтенантик с разбитой губой и фингалом под глазом сидел у стены на корточках смирно, глядя под ноги, словно что-то потерял. Трое, прижав его спинами, чтобы не сбежал, не отрываясь, смотрели туда же, куда смотрел из тьмы Борис. Розовый плащ в горошек был затоптан в грязь. Тетка дергалась под парнями, ее резиновые боты и вскинутая рука с бутылкой водки качались над их черными спинами.

Их было много этих flash-back ¹, наплывов; они появлялись, не спросившись, наваливались среди бела дня, накатываясь невидимой для других волною. Он думал, что до сих пор активные, своей жизнью живущие, эти клочки памяти со временем разберутся как-то по полочкам, по клеткам, по нейронам... Куда там! Они были свежи, как только что проявленная пленка, и сияли красками. Он смотрел на пеструю толпу, непрерывно текущую мимо столика, и сквозь цветной, все еще солнцем напитанный вечер прорастала черная ночная сирень и мокрые стальные, в заклепках опоры Чертова Колеса. С дрожью отвращения он

¹ Здесь: мгновенных возвращений назад, мгновенных перемещений в прошлое (англ.).

отметил, что, как и тридцать лет назад, тело его, не спрашивая, реагировало по-своему...

Он вернулся домой переодеться. *Bordel de merde!*¹ *What a mess!*² Не можешь – не рожай! Пришли сестру! Тещу хотя бы! Подай прошение об отставке! Уйди на пенсию...

Он перешагнул через труп кассетника, под ногой хрустнула скорлупа какой-то упаковки. В кофейной чашке брассом плыл муравей. Из зарослей начавшей жухнуть заоконной герани выпорхнул воробей.

Он оглянулся, ища пластиковую бутылку – хоть раз в неделю ты можешь полить – и зацепился взглядом за фотографию на стене. В обнимку с Кимом и Надей возле винного киоска в Коктебеле. Загорелые и молодые. Сияющие счастливые рожи. На киоске афиша: “Победитель седьмого международного конкурса магов-иллюзионистов Арнольд Собакин. Два сеанса. Дети бесплатно”.

Он принял душ, мокрый, свалился на скомканные простыни, протянул руку к телефону и вырубился на полчаса. Очнулся он, как это часто с ним бывало, от сильного вздрога. Несколько минут тупо смотрел в потолок. Идти никуда не хотелось.

¹ Типичное бытовое ругательство, в данном случае – Какой бардак! (фр.).

² То же самое, что и предыдущее выражение (англ.).

В последнее время, в любой компании, даже с самыми близкими друзьями (а?.. у тебя есть близкие друзья?) он чувствовал себя чужим. Легкость и беззаботность, с которой раньше он вступал в отношения с другими, как ступают в теплую летнюю воду, исчезла. Для большинства он представлял лишь свое прошлое, беглеца из кумачового Диснейленда, состоящего из радиоактивных степей, поросших ракетными базами и приземистыми церквями, да перемежающихся кое-где водочными озерами...

Его раздражала необходимость говорить пошлости, выслушивать глупости, его мозг перестал производить нужное для анестезии идиотизма количество эндорфина... Поэтому лучше всего, счастливей и естественней, он чувствовал себя в одиночестве. И он, быть может, превратился бы в современного электронизированного, компьютеризированного отшельника, ан – все отравляло неиссякающее ощущение, что он всюду и везде опоздал. Оно и выталкивало его – к другим. Наверстывать.

Что?

Понять, откуда и почему была эта отравленная струя, было нетрудно. Там, дома, в Москве, где все было либо невыносимо картонным, поддельным и разваливалось от первого же прикосновения, либо – окаменевшей, как наросты в сибирском нужнике, угрюмой ложью – жизнь шла в ожидании настоящего, истинного, которое, увы, не наступало и наступать не собиралось.

Ощущение неправдоподобности окружающего, дурной шутки, розыгрыша никогда не оставляло его. Единственная жизнь не могла быть грубой подделкой! Несправедливостью – да! Но не фальшивкой.

Но фальшивым было голубое небо, зеленая трава, белая сирень, очи черные... Сквозь все проступала какая-то доморощенная арматура, видны были провода, скрепки, болты. Даже природа отношений между мужчинами и женщинами была с поправкой на неизбежную лажу... Вся поэзия тех дней была пропитана сточными водами кремлевских сортиров.

Что оставалось делать на просторах одной шестой? Хохмить. Поддавать. Мечтать. Косить на ебанашку. Делать ноги. Валять ваньку. Делать вид, что тебя нет. Он и был неутомимым балагурщиком, создателем бесчисленных хохм. Отсюда по инерции и нынешние, по слабому признаку, хохмы, corny jokes¹. Идиотский мир нельзя было разрушить. Зато его можно было высмеять. Уничтожить анекдотом. Это и осталось.

В его ожидании, в надежде однажды проснуться, спастись от кошмара, уже тогда была ошибка. Ослепительная реальность все же была рядом – жесткая, убийственная, подлая. Фальшивка была действительностью! Подделка – реальностью! Но он не хотел ее видеть. Видеть

¹ Неуклюжие, грубоватые остроты (англ.).

означало бы признать. А признание потребовало бы либо действия, либо причисления и себя к хихикающей, подпевающей, подмахивающей армии конформистов.

И он ждал. В те времена еще можно было жить на подножном корму иллюзий, подкармливаться стихами, сбегать в Тавриду, валяться среди асфodelей и ковыля, наблюдая за тем, как сквозь пышно взбитые ситилусы¹ гонятся друг за дружкой серебряные миги...

Затем был Запад. Первые годы были сплошной сарагосской рукописью: он просыпался из сна в новый сон, выныривал из него в следующий и открывал глаза в еще одном, медленно плывущем неизвестно куда сне. Гораздо позднее он понял, что его отношения с другими были необязательными, поверхностными и мимолетными именно потому, что все эти дивы и девы, старцы и юноши ему снились. Он был подсознательно уверен в том, что оставит их среди мятых простыней и перегретых подушек.

В Париже он обнаружил, что время стало пространством. Прошлое – географией. Оно было долгой и нудной болезнью. Выздоровливающий много и благодатно спал и, наконец, проснувшись, увидел в окне то, что больше не поддавалось дроблению. И если и от этой последней реальности можно было проснуться, то лишь – умерев.

¹ Разрозненные облака большой плотности, передвигающиеся на небольшой высоте (лат.).

Отныне оставалось лишь одно – расходовать то, что было внутри и снаружи, пользоваться этими мостовыми и набережными, заводить знакомства, петь песни, смеяться, пить вино, говорить глупости, просыпаться неизвестно где, принимать аспирин и делать долги. Всем этим он и занялся. Новый мир не просвечивал, он не был ни плохим, ни хорошим, вернее, был и мерзким, и великолепным, и ощущение подделки, фальши исчезло. Зато появилось, накопилось, желчью разлилось чувство того, что он везде и всюду опоздал...

Он хорошо помнил, как оно всплыло, это чувство. Он сидел под навесом террасы кафе, моросил дождь, мимо текла толпа. “Я сижу на террасе “Бонапарта”, – писал он на открытке. – Льет занудный дождь. Мимо моего столика упакованные, как космонавты, шлепают, сворачивая к Сене, туристы...”

Он остановился. Перевернул открытку. На ней был такой же дождливый парижский вечер. Огни рекламы. В крупных каплях – капот серебряного “роллс-ройса”. Слово “мимо” вдруг покинуло контекст, разрослось, едкой кислотой прожгло влажные сумерки, засветилось, как неоновая вывеска рядом с рекламой киношки. Он посмотрел на часы и вздрогнул – прошло полжизни.

Конечно, он знал откуда бьет этот отравленный ключ. Беглец, покинув просторы прошлого, начинает жить с нуля, у него два возраста. Дата рождения в паспорте – реальна, но реальна и дата его въездной визы, дата в виде на жительство. Бо-

рису было тридцать два года в тот день, когда он сошел с трапа самолета в Орли. Это означало, что отныне он, по сравнению со всеми остальными, опаздывал на тридцать два года жизни. Конечно, он жил быстрее, чем его окружавшие, и, быть может, со временем разрыв уменьшился бы до десяти-пятнадцати лет, но эту последнюю дистанцию сократить не было никакой возможности.

Он больше не возвращался к этим мыслям, но они и без его участия сами по себе шуршали у него в голове, как осенние листья, стоило ему лишь на мгновенье позволить себе расслабиться, провалиться в тишину.

Отныне это и был тот самый фон, на котором пульсировала его жизнь.

Номер телефона Гаро был записан на сигаретной пачке. Вряд ли у старика с его старомодностью, кожаными сигарницами и килограммовыми запонками есть автоответчик. Набрал. Не подходили. Собрался повесить трубку, но тут ответили. Служанка? Тень матери Гамлета?

– Можно господина Гаро? – Ах, да... В таком случае, будьте любезны, передайте, что Борис не сможет придти вечером. Борис... Я попробую завтра. Благодарю.

Он позвонил Жюли на работу. Уже ушла. Позвонил в Лозанну Сандре. Занято. Набрал номер Вагрича в Нью-Йорке и, не дождавшись гудка,

бросил трубку. Приступы меланхолии регулярно прибавляли ноль, если не два, к его телефонным счетам.

Если чуть-чуть сползти с кровати на ковер, видно небо. Почему так важно видеть небо? Эту дыру в никуда? В которую мы все проваливаемся скопом, денно и ночью, от рождения и до смерти. Какая жуть эта идея, что есть другая жизнь! Потусторонний – по ту сторону! Ангелы, демоны, Будда с Назарянином, Mad Max ¹, бледные, отбеленные небесным жавелем, святые, окровавленные грешники, утопленницы. Офелия с распухшим от пиявок лицом вникает в ирджинской волчице... В карманах последней скрипят морские камешки. Рядом толпа полубо-наженных мужей мостит дорогу в местный Дахау благими намерениями...

Если есть другая жизнь, значит нет этой. Значит эта не имеет смысла – если истинный смысл имеет та, другая. Земные храмы – это залы ожидания, вокзалы. Старушки в своих бурнусах, при свете свечей поджидающие билетик на отбывающий туда поезд...

Стоит лишь согласиться с тем, что там тебя ждут судьи и никогда не виденные родственники, что там существует иная и высшая форма бытия, как эта, здешняя жизнь, начинает опять просвечивать, скрипеть на стыках, наполняться сухим гипсовым скрипом, словно то

¹ “Безумный Макс”, фильм режиссера Джорджа Миллера (англ.).

гигантское яйцо, в которое заключено все здешнее, собирается пустить с изнанки по небесному куполу аспидно-черную, раздвигающуюся трещину...

Вот и сейчас. Вечер. Собирается гроза. Хлопают окна. Слышно, как ветер гонит мусор по улице. Весело перекликаются голоса. Где-то жарят баранину с розмарином. Несется мотоцикл. Шуршат сухие молнии. “А мне все кажется, – думал он, – что эти, с выключенным звуком, сполохи однажды надвинутся сплошным густым лиловым фронтом и что одна чудовищно ослепительная вспышка засветит наконец весь мир, как моток фотопленки – раз и навсегда”.

– А потом, – сказал он вслух, – боженька сделает чудо! Проявит нас всех в мутных водах Млечного пути и повесит сушиться на рога bélier ¹. Как будет по-русски bélier?

Взвизгнул телефон. За окном было черно; шипя, закрашивая мир наискосок, шел дождь. “Vous êtes, – сказал он голосом автоответчика, – chez Boris Zavad. Vous pouvez laisser votre message après le bip sonore...”² И он нажал на кнопку со звездой – телефон мягко пискнул.

– Конечно, – раздался голос Жюли, – тебя никогда нет дома. Ненавижу разговаривать с твоим автоответчиком. Позвони. Я дома. Только не поздно. Целую...

¹ Баран, здесь – Козерог (фр.).

² Здесь: “Вы набрали номер... Бориса Завада. Вы можете говорить после сигнала...” (фр.).

Он встал, не зажигая свет на кухне, включил кофеварку. Глухо, сквозь дождь, сквозь шипение струй далекие часы отсчитали девять. Он отломил квадратик шоколада. Кофе, шипя, бежал в чашку. Пнул высунувшийся из-под стула “найк”¹. Сто лет не был на корте! “30-15! Вторая подача!” Kiss my ass! Grand sportive!²

Кофе вышел как надо: густой, как ликер, bien serré³, душистый. Набрал номер Жюли.

– Устала? Хочешь, я заеду? Через тридцать-сорок... Нет, прошло нормально. Расскажу позже..

Опять одеваться! Натянул на голый зад джинсы, достал чистую майку, скорчился. Кофе! Выйдя из ванной – зажмурился. Дождь кончился – в пятнадцать минут десятого солнце шипело и танцевало на крышах города. За цветными витражами собора глухо гудел орган.

Из тусклой воронки метро тянуло горячей ветошью. Бастовали мусорщики. Черный парень в цветастых шортах, с блюдцами наушников, сплющивших наголо стриженную голову, мелькавший в пустом, набок валящемся коридоре, оглянувшись на Бориса, моментальным движением извлек из-под щита рекламы пластиковый пакет и, танцуя на жеребьчьих ногах, исчез. Китайский человек в

¹ Марка спортивной обуви.

² “Поцелуй меня в зад!” (англ.); “Великий спортсмен!” (фр.).

³ Буквально – “хорошо отжатый”; итальянская манера варить кофе – много кофе, мало воды (фр.).

каменной нише, сидя в засаде шелковых кимоно, драконов и золоченых цепочек, слушал транзистор. Молоденький полицейский возле эскалатора держал вверх ногами паспорт свирепого латинос, наглухо упакованного в костюм-тройку цвета протухшей семги, и что-то вопил в токи-воки. Любопытные стояли полукругом, жуя резинку или покуривая.

В вагоне метро двухметровый белобрысый янки с ополовиненной бутылкой красного в руке, вежливо-пьяно пригибаясь, спрашивал: “Speak English? And you? Thank you! Speak English? Where’s downtown Paris?”¹

Молодая наркоманка с напрочь замороженным лицом, со зрачками, сжавшимися до двух черных булавок, молча побиралась, пробираясь меж сидящими, как призрак среди призраков. Здоровенный дядька в красной с черными подмышками рубашке, задумчиво глядя в пустое окно, рвал волосы из ноздрей. Небритый юноша, время от времени мотавший головой, словно его кусали невидимые москиты, читал ЕССЕ НОМО² в затрепанном карманном издании.

Короткий незапахнутый халатик, мокрые русые пряди – Жюли возилась на кухне с салатом.
– Накрыть на стол?

¹ “Говорите по-английски? А вы? Спасибо! Говорите по-английски? Где центр Парижа?” (англ.). (Американские города имеют четко спланированный центр. В Париже нет центра. В нем много различных “центров”...)

² “Вот человек!” – текст Ф. Ницше (лат.).

– Открой вино. В холодильнике.

Он прижался губами к прохладной шее. Длинный вздрог. “*Bonjour tristesse...*”¹ Она хотела повернуться, но он ее удержал. Руки, проскользнувшие в распах халата, груди, опустившиеся в ладони...

– *Je voudrais être ton soutien-gorge... Je voudrais être ton slip, ton tampon, taille moyenne, avec cette ficelle, как бикфордов шнур...*

– *Promesses! C’est quoi ce machin – k’ford?*

– *La méche lente...*

– *Oh oui! Qui! C’est toi ma méche lente, très lente...*²

Ложь, настоянная на лжи. Лгать, словно играть в мяч: я тебя люф! Я тебя тоже люф! Очень! *Madly! Love! Amour! 15-40! Net! Second Service! Ах! Ой! Merde!*³

Он открыл бутылку шеверни, уселся в гостиной, налил два бокала. – Еще минут десять! – прокричала она с кухни. – Не умрешь? Мне надо позвонить матери. А то будет поздно...

Телевизор с выключенным звуком пускал цветные вспышки. По экрану ползла муха. “ Вот

¹ “Здравствуй, Грусть” (*фр.*). Название книги Франсуазы Саган.

² Я хотел бы быть твоим лифчиком, твоими трусикам, твоим тампоном, размер средний, с этой веревочкой, похожей на бикфордов шнур... (*фр.*). – Обещания! А что это за штука к’фордов? – Бикфордов шнур. – О да, я согласна! (*фр.*).

³ *Madly! Love!* – Безумно! Любовь! (*англ.*); *Amour!* – Любовь! (*фр.*); *Net! Second Service!* – Сетка! Вторая подача! (*фр.*); *Merde!* – Дерьмо! (*фр.*).

он – символ наших времен, – подумал он. – Муха на экране “мицубиси”. Жюли что-то еще кричала из кухни, но и ее звук был выключен.

Впервые он увидел ее в конце мая – два года назад. Два года и два месяца. Она лежала в черной дождевой луже на обочине набережной Больших Августинцев, а метрах в пяти, перевернутый, продолжал трещать колесом ее “интродер”¹. Златошлемые парни уже тащили носилки, мокрый асфальт пульсировал синим и красным, было трудно дышать от скопившейся в воздухе влаги, и стоявший на коленях реаниматор, осторожно подняв забрало ее каски, тихо, словно боясь разбудить, сказал:

– *C’est une femme...*²

Полицейские увели в свой фургон Сандру, и Борис, запустив окуроч в Сену, пошел за нею. Бледная, несмотря на природную смуглость, с детской гримасой на лице, она дула в свистульку алко-теста. Слава богу – цвет был желтый. Мрачный сержант с бульдожьей мордой переписал их документы, позвонил в околоток и отпустил их. Ее “ланчия” с разбитым левым подфарником стояла между второй полицейской машиной и “мерседесом” свидетелей.

Они медленно доехали до “Свиньи” и в полчаса напились. Левый глаз у Сандры поплыл, словно ей поставили фингал, она шмыгала носом и стряхивала пепел сигареты в тарелку с нетро-

¹ Марка мотоцикла.

² Это женщина (*фр.*).

нутым жарким. На рассвете она пошла звонить в больницу. Мальчишка-официант, насвистывая, мыл пол. Пепельного цвета поросенок на цепи спал в дверях. Сандра вернулась, жалко улыбаясь.

– Сотрясение, ключица, правая рука в двух местах и три ребра, – сказала она.

Он налил ей полный бокал “пино”. Она наморщила лоб и стала пить вино, как воду. Большими упорными глотками...

Они зацепили ее возле Моста Сен-Мишель. Она вылетела откуда-то сбоку, спичкой чиркнула по корпусу “ланчии”, а затем они увидели пустой мотоцикл, катящийся по набережной. И только тогда зажегся красный свет.

Машину вела Сандра и, хотя она ни в чем не была виновата, была она в шоке. Сидя в полицейском фургоне, она все время трясла головой, словно пытаясь проснуться.

Бориса тоже мутило. Вина косвенно ложилась на него. Где бы они ни были с Сандрой – в полутемной подвальной дискотеке, в киношке, в чужом подъезде, в машине – их руки вечно искали то место, где ее плоть раздваивалась, а его – набухала. Это происходило само собой, без спроса, автоматически...

When I hold you in my arms
And I feel my finger on your trigger
I know no one can do me no harm

because happiness is a warm gun.

Yes it is.¹

И на этот раз она, полуослепшая, рулила по набережной, чувствуя и мощные порывы ветра с дождем, налетавшего на ланчию, и невыносимое тепло, волнами расходящееся внутри нее, и легкую тревогу от пестрого мелькания размытых линий и контуров в окне. Ноги ее были слегка раздвинуты, и Борис, глядя, как хлещут по стеклу длинные дождевые нити, осторожно ласкал ее, вслушиваясь в меняющийся ритм ее дыхания, в эти горловые задержки, в этот скрип и бульканье гортани... Лицо ее медленно темнело, шея пошла алыми пятнами, она пыталась улыбнуться и... не могла. Чека была вырвана. Он это знал. Теперь от него зависело, на сколько клочков ее разнесет...

– Перестань..., – выдохнула она наконец. – Мы куда-нибудь врежемся...

И в этот момент, на повороте на мост, легко, как шутка, но отчетливо, как – дурная, металл чиркнул о металл.

Они справляли ее день рождения в тот теплый, сбрызнутый парижской моросейкой вечер.

¹ Слова из песни Битлз: (подстрочно)
“Когда ты в моих объятиях
и я чувствую пальцем твой спусковой курок,
я знаю, что никто не может причинить мне вред,
потому что счастье – это теплый ствол.
Да-да, это так” (англ.).

Была она дважды Близнец – и потому, что родилась в мае, и потому, что была близнецом. Это ее сестра, Ливия, старше ее на семь минут, познакомила их на алискафо¹, летящем к Искии. Ливия любила делать странные подарки. В Париже Сандра появилась в первый раз в дверях его квартиры, завернутая в золотую с голубыми звездами хрустящую бумагу, перевязанная бордовой лентой. Ливия, давась от смеха, сбегала вниз по лестнице.

– Подарок! – кричала она снизу.

Они отпраздновали ее двадцать семь “У Жоржа” и отправились допивать к Борису. Он подарил ей духи из малоизвестного магазинчика с бульвара Распай, она была в восторге. Тяжелый и тягучий запах, дремавший в простом хрустальном флаконе, вначале обещал убить, отравить, усыпить навсегда, но постепенно переходил во что-то знакомое, дачное, цветущее... Казалось, вот-вот припомнится что-то томящее, волнуемое, ужасно важное... Но в этом-то и был весь трюк: сладкая заноза не вытаскивалась, растревоженная память зудела, уезжала в сторону пыльная штора, мелькали ветви жасмина, чье-то голое плечо исчезало в рукаве халата, нож лежал на тарелке между долькой лимона и надрезанным фейхоа, затем, как паром, обдавало надвигающимся воспоминанием, сухо жгло лицо, и все рассеивалось.

¹ Корабли на подводных крыльях (*итал.*).

Оставалось лишь это невыносимое напряжение, эта невозможность припомнить.

Сандра была замужем за высоким, вечно с двухдневной щетиной на розовых щеках миланцем. На Искии они как-то ужинали все вместе: Ливия, Сандра, Борис и Фабио. В жирной глянцевой шевелящейся тьме южной ночи с утробным звуком ухало море, жужжала на своей орбите лохматая ночная совка да хрустел гравий под подошвами ленивого толстяка-подавальщика.

Где-то в конце вечера, под самый занавес, Фабио, откинувшись назад на стуле, заговорил с немцем из компании за соседним столиком. Слов не было слышно, да Борис и не понимал по-немецки, но боковым зрением он заметил широкую улыбку парня, его белесые ресницы и руку Фабио, легшую на его плечо. Официант принес еще одну бутылку дрянного местного розового, на бархатном заднике ночи влажно плевались звездами крошечные местные островные везувии, сестры одинаково тупо смотрели вниз на жирную и усатую ресторанную кошку, мрачно хрустевшую клешней лангуста.

Сандра накатывала в Париж регулярно. Была она синхронисткой в ЮНЕСКО и обычно, отсидев в наушниках пять-шесть часов, вырывалась на свободу, как пума из зоопарка. Часто она забывала переключить язык, и Борис сидел, улыбаясь, поджидая, пока до нее самой дойдет, что клокочет и выкипает она по-арабски. — *Et zut alors!*¹ — хохота-

¹ Черт побери! (*фр.*).

ла она. – Простыи пожалуста! – пыталась она на той же скорости ввинтиться в русский, что Борис не приветствовал. Языки она заглывала с устрашающей легкостью.

Он был счастлив с нею, но никогда не был спокоен. Она появлялась и исчезала, обжигала его своим сумасшествием и снова исчезала на наемной машине, в такси, в “ягуаре” коллеги, подвозившего ее в аэропорт. Она ни во что не играла, быть может, даже была ему верна и, как никто в его жизни, умела довести его до той степени счастливого опустошения, за которой начинается что-то пугающее, страшное и имени не имеющее.

Именно поэтому он ее и не любил. Обожал, сходил по ней с ума, но не любил. Запретил, загнал в дальний, самый темный угол, держал на дистанции это вырывающееся, готовое разжаться чудовищной спиралью чувство...

Он знал, что позволъ он себе любить ее, а не просто желать, как она получит всю власть над ним, над его жизнью, над его днями. А именно этого он и не хотел.

Однажды он уже выбирал между любовью и свободой и выбрал чужую страну, где он всем был до лампочки, оставив где-то на востоке и тех, кого любил, и тех, кто любил его. Быть свободным было важнее, чем быть любимым.

Быть и свободным, и любимым казалось ему невозможным. По крайней мере он этому не был научен.

Он съездил в больницу. К мадемуазель Серра его не пустили, но он передал цветы и через плечо медбрата заглянул в палату: наполовину спеленатая, наполовину подвешенная, Жюли спала, повернутая к глухо занавешенному окну. Пахло чем-то из детства: немного едой, немного цветочным мылом...

В жизни есть немало моментов, когда что-то происходит с восприятием; оно либо теряет, либо чудовищно увеличивает чувствительность. Сидя в отвратительно новеньком после ремонта кафе на овальной площади возле больничных ворот, Борис переживал как вторжение в личную жизнь и разлохмаченный куст хилой сирени возле автобусной остановки, и диагональную рябь на сине-черной луже, и стоптанные каблукы старой кокотки, выгуливавшей чистенькую розовошерстную моську. Зрительный мир, царапаясь, нагло лез в память.

Ким как-то сказал ему, что в иные минуты жизни пленку в 25 ASA, на которой отпечатываются банальные детали бытия, программируют, как пленку в 6400 ASA, и тогда она начинает впитывать невидимое: цветные молекулы тумана, вмятины от поцелуев, вспышки страха... Ким, с его “лейками” и эктохромом, телевиками и широкоугольниками, мыслил, конечно, в ISO и ASA.

Но так оно и было. Без спросу, и вдруг красный плащ школьницы стал в десять раз краснее, серо-черные покрышки “ситроена” – черно-аспидными, небо в прорывах туч стало наливать-

ся невыносимой синевой, а счет за чашку кофе на мраморе столика, глянецовый бок молочника и чайная ложка с рыхлым следом коричневатого сахара превратились в натюрморт гиперреалиста.

Он медленно перевел взгляд на соседний столик: искусство метаморфозы действовало и на этой дистанции – пепельница с голубым, почти горизонтальным дымком “галуаза”, жирный отпечаток губной помады на фильтре, пара поношенных перчаток возле картонной пивной подставки и луч солнца, тупо горящий в кружке рыжего ирландского пива... Он видел крепкий узел рыжих, как пиво, волос, ворот легенького пальто, глаза и небритые щеки ее собеседника. Все это было преувеличено в деталях, в цвете, в нарочитости композиции.

Борис чувствовал раздражение, почти тошноту, зная наверняка, что отныне эти безымянные и совершенно ему ненужные минуты будут обитать в его памяти, всплывая на поверхность, когда им заблагорассудится. Так в битком набитом пригородном поезде толстуха, со всех сторон состоящая из грудей, протягивает под твоим носом фотографию товарке, и против воли ты видишь торчащую из ничего пыльную пальму, зеленую с белым полоску воды и толстуху в непомерном купальнике с тюрбаном на голове, держащую за волосатое запястье сильно уменьшенную копию Яника Ноа ¹.

¹ Яник Ноа – один из лучших теннисистов Франции.

Сандра уехала на конференцию в Осаку. После Осаки был Лос-Анджелес. После Лос-Анджелеса, как всегда в июле, – Иския, каменное семейное гнездо по-над морем, тетушки с внучатыми племянницами, купания, походы на рынок, кастрюли и ежевечернее застолье на каменной террасе, за огромным, человек на двадцать, столом – со свечами, домашним вином, кабачками в масле, баклажанами в масле, лоснящимися от загара спинами и голыми руками – в масле... Он был зван. Но сидел в Париже. Играл в теннис по утрам, рыскал по редакциям после обеда и вечером отправлялся к Жюли.

Ее выписали. Сняли гипс. Она ходила четыре раза в неделю на лечебную гимнастику. Ее черный “интродер” с помятым бензобаком стоял в цепях под окном.

До самой осени между ними ничего не было. Он приносил цветы, покупал дорогую снедь у итальянцев в маленькой лавочке возле площади Побед. Сидел у нее допоздна, редко заночевывал на диване в гостиной.

Иногда он обнаруживал, что пьет из ее губ, тянет долгий холодный поцелуй, держит ее за плечи. Но он боялся сделать ей больно, боялся раздавить, она казалась ему бесконечно хрупкой, ломкой, не на ту, на слабую нитку сшитой...

Он помнил, что был виноват в ее падении, хотя внешне ее полет в черном воздухе и удар о мокрую мостовую ничего общего не имел с его ру-

кой меж раздвинутых, крупно дрожащих, как при тике, ног Сандры.

Увы, их словно сняли в одном и том же фильме, в общей сцене...

Но ему уже давно нужно было кого-нибудь жалеть, чтобы не жалеть самого себя, и кого-нибудь корить, чтобы не корить весь мир. Отныне он мог жалеть вовсе не хрупкую, как ему сначала показалось, Жюли и винить самого себя. И то и другое помогало ему держать на дистанции ту единственную, с кем он действительно хотел быть.

Сандру.

Вошла Жюли, поставила на стол поднос, перегнувшись через стол, зажгла торшер, не глядя, скользнула рукой по его волосам. Он встал, отодвинул для нее стул.

– Мать просила тебя поцеловать, – сказала она, оборачиваясь.

Мягкие, мокрые губы. Жалящий язык. Этот ее травяной запах. Отсыревшее сено. Увядание. Обими руками он крепко вдавливал ее в себя. Наконец между лопатками хрустнул позвонок.

– Уф! Сломаешь! – заерзала она, вырываясь.

Поцелуй был для нее границей правды. Губы ее могли путешествовать честно на край света, до предела томящего напряжения. Но стоило пойти чуть дальше, стоило ей почувствовать, как просыпается тело, как потягивает низ живота, как слабеют вдруг ноги, как набухают и твердеют соски, как

она привычно начинала играть одну и ту же фальшивую роль, карикатурную страсть, неумелую подделку. Сладкая боль переходила в раздражение, в неудобство, от которого можно было избавиться лишь одним путем – переждать.

Он знал ее историю. Она была составлена из отрывков ее, не всегда честных, рассказов. Он знал, как рождался и обрастал деталями миф, в который со временем она честно и пламенно поверила.

Пятнадцать лет назад она была боттичеллевской блондинкой, розовой с голубым, с нежной золотистой кожей и искрящимися голубыми глазами. Была такая розово-бело-голубая пастила в Москве... Отец ее отчаянно хотел сына, она была четвертой дочкой. До двадцати лет, до его развода с матерью он практически не разговаривал с нею. Она оставила Льеж и перебралась в Париж в девятнадцать. Она была пугливо счастлива и пьяна от своей новенькой, с иголки, независимости. За ней волочился весь факультет. Ее останавливали на улице. К ней подсаживались в кафе.

Она потеряла невинность, даже не узнав об этом. Марк рассказал ей о случившемся лишь две недели спустя. Она осталась у него после вечеринки. Никогда в жизни она так весело и так много не пила. Заснула она в детской, где на кровать были свалены пальто, а проснулась утром в большой постели Марка. Одна. Марк подрабатывал в ресторане. Он был единственным женатиком на факультете. Тина, его крутобокая американская женоушка, вместе с двухлетним сыном паслась в горах Швейцарии.

Марк намекнул ей о происшедшем мимоходом, в студенческой пивнушке на улице Горы Святой Женевьевы. Она сначала не поняла. Потом поняла, но не поверила. И, поверив, молча разревелась, и, слепая от слез, выскочив из кафе, чуть не попала под машину. Уже в те времена ее ангел-хранитель не отличался быстротой реакций.

Какое-то время Марк занимался ее обучением. *Sex-o-clock quotidienne*¹. Ей было больно, противно, но главное – никак. Он был волосатым, мускулистым самцом, вонзавшимся в нее с каким-то пугающим ожесточением. Пот собирался у него на шее, тек по груди, капал ей на живот. После Марка было еще несколько других, но таких же – никаких, мнущих ее, глядящих, вбивающих себя в ее разверстую плоть с тупой и враждебной силой. Потом не было никого – она не хотела никого, хотя продолжала принимать противозачаточное.

Она остро помнила это чувство – глотать наспех утром, чтобы не забыть, крошечную голубую таблетку, зная, что это ни к чему, что ни с кем сегодня ничего не будет: ни мокрой возни, ни совместного раздевания, ни любви. Уж тем более любви.

Летом на Ривьере она встретила Жан-Жака. Он был на два года старше ее отца. Загорелый, почти лысый череп, крупный нос, чуть лоснящаяся в крупных порах кожа южанина. Он посылал ей цветы – огромные букеты белых лилий, связки прямых

¹ “Франгле”: игра слов от англ. фэйф-о-клок – перевод: “ежедневный секс-о-клок”.

веток туберозы... Он возил ее в ночные рестораны в Сен-Рафаэль, в Кассис, в Сен-Троп. Он был членом авиаклуба и начал учить ее летать. Он много ел, громко хохотал, но всегда вовремя останавливался, сбавлял скорость, если замечал, что ее это пугает. Он был не похож на парней с факультета, которые, протягивая самокрутку травы, предлагали: “Как насчет слетать? На Луну и обратно?”

В сентябре они поженились. Первое время она чего-то ждала, его объятия ей не были противны. Она искала защиты, и она ее получила. Он тоже получил то, что хотел. Так ей казалось. Так она думала. Но однажды он все же сказал ей, что ему осточертело заниматься любовью в одиночку. Она не поняла. Но фраза запомнилась.

Они разошлись через три года. Он купил ей небольшую двухкомнатную квартиру возле Ботанического сада в Париже. К разводу отнесся как к маловажному изменению их отношений. И продолжал звонить каждую неделю, посылать цветы и подарки, возить ее по ресторанам, улаживать ее дела с налоговым управлением, покупать билеты на Майорку, продолжал оставаться у нее, будя ее по четыре раза за ночь, не говоря уже про утренние *sturm und drang*¹.

Но постепенно Жан-Жак утих, стал звонить все реже, цветы от него приносили теперь чуть ли не по большим праздникам, и наконец он канул в воду, исчез, растворился, и единственным

¹ Штурм и натиск (нем.).

напоминанием о нем за последние годы был большой заказной пакет, который принесли почему-то на ее адрес и в котором было какое-то техническое досье, проштемпелеванное печатью Дворца правосудия.

Все остальные ее истории не внушали доверия, и Борис к ним относился без интереса, включая и ее интрижку со знаменитой певичкой-лесбиянкой. То, чего она хотела теперь, было просто, как бином Ньютона: Жюли хотела любви. Сюда входили дети, домик в деревне, крыша над головой и погреб под ногами. Два года назад умер ее отец, она получила наследство, ушла на полставки и самым серьезным образом разглядывала теперь каталоги вилл, ферм и простеньких теремков на побережье Нормандии и Бретани.

Борис знал, что они расстанутся так же, как и встретились, желательно без аварий и гипса, но, боясь ее ранить, погружался в апатию, звонил Сандре в Милан, нарывался на Фабио, мучился от собственного безволия и все больше пил.

У него была теперь умная и сволочная Лидия и “любовница-надомница”, как она себя называла, изобретательная Леа. Время от времени накатывала из прошлого московская юных лет подружка, но она была тем самым бактериологическим оружием, против которого еще пока что ничего не изобрели.

Он перестал играть в теннис и время от времени глотал какую-то знаменитую муть, аннигили-

ровавшую во мгновение ока жутковатые магнитные поля тревоги, которые появлялись без спросу, уstraиваясь в реальности, как пейзаж в пейзаже.

– Это перекресток, – говорил он сам себе, – распутье, новая ступенька... Однажды утром все станет на свои места.

Но это утро не наступало вот уже несколько долгих-долгих – месяцев? лет?

Вялая порожняя тишина стоит за окном, августовское затишье. Комната подводно темна. Жюли настаивает на том, чтобы не было света. Не хочет видеть. Она привычно негромко постанывает. Причитает. Если перестать двигаться, она этого и не заметит, ее воркование не собьется с ритма, не замрет в ожидании. Я чувствую, как желание умирает во мне, как гаснут фосфоресцирующие нити, как отливает кровь и все заливают тупое раздражение.

– Что с тобой? – спрашивает она с театральным придыханием. – Ты устал? – ее голос становится нормальным.

Сандра! Я пытаюсь увидеть ее на изнанке век. Часть или целое... Никакой разницы! Я могу восстановить ее по обрезку ногтя, по капле пота, удирающей по одной из ее ложбинок... Что-то вспыхивает и гаснет, черное и пурпурное, царапает слепые зрачки, течет к переносице... Я не могу ее найти. Раздражение сменяется отчаянием.

– Вечно ты прибудняешься... – слышу я голос Сандры.

– Мальчику недодали любви? – Я чувствую, как ее груди вдавливаются в меня, как оживает живот, как становится мокрым ее мох – где-то там на окраине нас, ее и меня. Под моими губами бьется жилка на ее шее. – Doucement ¹, – шепчет она, и то ли плачет, то ли смеется...

Стоном пытаюсь я заглушить имя ее...

Я смотрю на нее, улыбаясь. Но сквозь тающие черты Сандры уже всплывает лицо Жюли. В растерзанной, во все еще вибрирующей тьме я вижу в ее глазах страх. Она хочет что-то сказать. Но не может. Вспыхивает огонь зажигалки. Жюли протягивает мне зажженную сигарету.

– Tu as été superbe...²

– The pleasure was mine...Indeed. One more time...³

На ее: “Ты останешься?” он крикнул в открытую дверь ванной: “Да!” Но через час, разбитый от безуспешных попыток отчалить к другим берегам, вышел на улицу. Спать, спать выключившись, вырубившись, отныне он мог лишь один.

Как и прошлой ночью, воздух был словно ды-

¹ Тише, осторожно (фр.).

² Ты был великолепен (фр.).

³ Искажение традиционного английского выражения-ответа: – Мое удовольствие... В данном случае: “Удовольствие было мое... Точно. Еще раз” (англ.).

хание больного: жар и гниль. Из улицы Булочников медленно выползло такси. Он погромел мелочью в кармане и зевнул. Этот сукин сын Реми в банке! Из-за займа в паршивых пятнадцать тысяч они готовы тебя допрашивать, как в гестапо!

Кто из родственников скончался от инфаркта? Подпишите здесь. От инсульта? Вот здесь – инициалы. Рак? Психические отклонения? Пройдите со мной... Засучите рукав. Левая, правая – мне все равно... Анализ крови обязателен... Мари-Клод! Мадам Касскуй сделает вам рентгеноскопию и ректальную эхографию. Если анализы докажут, что вы здоровы – я забыл мочу, вот пробирка – комиссия решит на следующей неделе, может ли наш банк дать вам ссуду. Прижмите вату. Вы изрядно бледны, приятель... Под шестнадцать процентов. Вставьте палец. Нет, средний. Скажем так: давление и пульс. На чем мы? Тридцать шесть месяцев выплаты. Надеюсь, вы не должны другим банкам? Смотрите в глаза! Я вынужден поставить крестик. Здесь. Обильное потовыделение. Экстрасистола. Скачок давления. Распишитесь. Нет, лучше шариковой. Шесть экземпляров. Нажимайте, а то придется все сначала. И дату. О'кей. Тринадцатое августа тысяча девятьсот... Почему они говорят – летит? Оно дергается! Скачет! Топчется! Девяносто первого. Всяческих благ! Самого-самого! Был чудовищно рад...

Медленно он добрал до Бульмиша, продрался сквозь толпу итальянцев, пожиравших мороженое

на перекрестке с Сен-Жермен, как в тумане потащился вниз по набережной.

На Новом мосту стройная девушка выгуливала нервного колли. Проходя мимо, он тайком заглянул ей в лицо: девушке было сильно под девяносто.

На террасе “Собаки, Которая Курит” сидел Робер – старый приятель и такой же старый мудака. Борис остановился, потом лениво сел и просидел, не заметив, минут двадцать. Робер только что купил дом в Лаванду. В прошлый раз, когда они виделись, Робер только что купил квартиру возле парка Монсо. Он улетал наутро на Сейшельские. В прошлый раз он улетал на Сен-Мартан.

Лет десять назад Робер издавал журнал: левый, хулиганский, веселый. Потом он прогорел. Потом занялся недвижимостью. С тех пор он гонял на порше, заваливался в гости с трехметровыми манекенщицами, платил за всех в кабаках и был дико скучен.

– Баюшки. Dodo¹. Пора и честь... – выдавил наконец Борис, вставая. Их столик был последним уцелевшим на террасе. Все остальные стулья и столы официант уже снес вовнутрь и стоял в дверях, поджидая. Робер всегда оставлял царские чаевые.

Спеленатый ночью, в темных шелках ее лежал он, чувствуя в проеме окна слабо пульсирующий

¹ Баюшки (фр.).

старый город. Горячее тело его вытягивалось и закручивалось, двигалось всеми углами, пытаюсь сползти в сон. Дневные мысли, тени дневных мыслей, держали его на плаву, отпускали, он с головой уходил в подвижную воду сна, но какая-нибудь одна, не мысль, не тень ее, а кривляющийся призрак, тень тени, выталкивала его на поверхность во влажные складки простыней, в эти широкие размотавшиеся бинты, в эту комнату, в которую через пробойну окна натекала ночь.

Не зажигая света, он протянул руку и нащупал на ночном столике возле холодного браслета часов рисовое зерно снотворного. Чудовищная горечь набухла под языком, сковала горло, порыв ветра тронул занавеску, звякнули деревянные кольца, и запахло остывающими крышами, летней пылью и совсем слабо жасмином. Тихо, на цыпочках, начал подкрадываться дождь. Где-то под карнизом зашуршал крыльями проснувшийся голубь: царапая когтями старый камень, расталкивая соседей, устраиваясь удобнее.

Драхма под языком растаяла, а перевозчика не было и в помине. Профсоюз Перевозчиков Трех Рек. ППТР. Плеск весел и скрип уключин. Забегаловки нижнего берега Коцита и пивнушки верховий Стикса. Надпись над дубовой стойкой: “Солодовый эль «Мертвая Голова»”. “Только что умершим – вечный кредит!” Воды трех подземных рек, сливаясь вместе, шумят бархатно-черным водопадом. Этаким “гиннессом” без отстоя пены. Если на месте слива, стока, сброса этих вод выстроить из мрамора, мрамора и гранита электростанцию, то... то масленично-чер-

ные угри молний зазмеятся по проводам, и гирлянды стеклянных груш вспыхнут стопроцентно черным, без проблеска, светом... ГЭС им. Гадеса... Нет!.. ГЭС им. Люцифера! “Смерть – это власть Сатаны плюс электрификация всего Ада!”

Экскурсии заспанных теней, бледных, как ростки сои, из Лимба в загорелый мускулистый рай, под голубое небо.

Агентство путешествий “Рай & Ад”.

Девятый круг по самым низким расценкам!

Уикенд в райских куцах! Семейным скидка 33%!.. И конкурирующее бюро путешествий – “Агентство Данте”. Девицы, сделанные под Беатриче. Стучат на компьютерах, вырубленных из чистого оникса.

– Сожалею, сэр! На конец месяца в рай все продано. Арабы, сэр, шейхи. Скупают все подряд! Грех жаловаться... Осталось два места в пекло. Для убийц малолетних и насильников со стажем. Как вам? Подойдет?

Флорентиец все напутал. Настоящий ад – это лимб. Все серое. Все серое навсегда. Как шинель, как наждак, как пространство между Кенигсбергом и Кичигой. Клайпедой и Курильском. Керки и Кокуора. И на любую другую букву. Полумертвое. Полуживое. Не живое и не мертвое: *limbus*¹. Экскурсии автобусами и лимбусами. Гы-гы-гы! Очень смешно, *le maître des corny jokes*...²

¹ Игра слов от лимба и bus (англ.) – автобус, автобусы Лимба.

² Здесь Борис, наконец, признается, что он “король, мастер дрянных шуток”; “франгле” – *le maitre des corny jokes*...

Занавеска надулась опять, наполнилась, как парус, опала... Я список кораблей прочел до середины. Аркесилай, Леит, Пенелей, Клоний, два здоровенных амбала – братья Аяксы. Аскалаф, Антрекот, Антиф, Гуней, Асканий... И все провоняло сыромятной кожей, кислой медью, свежеструганым деревом, смолой, козлятиной и дымом. Эпистроф, Эпиграф и сын Лаэрта. Наверняка был полтинником. Папаша, на самом деле, из Яфы. Спорю на канистру фалернского. Аминь.

Он протянул руку к часам, не дотянулся и медленно сполз на другой край постели. Гийом купил “роллекс”, тяжелый как... *Vingt-quatre mille! Crétin!*¹ И загнулся на той же неделе в сауне. С килограммовым “роллексом” на волосатом запястье. Готовым протикать до второго пришествия. Нужно хоронить *авес*². По дну переулка медленно прошли тяжелые. Мелкие, семенящие, обещающая истерику, промчались вдогонку. Пауза. Всхлип. Нервный смех. Тишина. Ничего.

Он представил себе город: тысячи тысяч постелей. Аккуратно заправленных, плоских, запаркованных, как машины на лето, в душных темных спальнях. Смятые и растерзанные, как его собственная: молчаливая возня с Морфеем – кто кого. Резного дерева, с причудливыми изголовьями, с распятыями на стенах, с портретами, фотографиями, афишами... Та худая гибкая филиппинка, над

¹ Двадцать четыре тысячи! кретин! (*фр.*).

² Вместе, с (*фр.*).

постелью которой висел двухметровый Ленин. Какой ужас! Оделся и ушел после неудачной попытки. Взгляд вождя, сверлящий задницу... Поди тут... Постели с бронзовыми башенками и шарами – буддистские храмы! С балдахинами, с зеркалами над ними, огромные, как у Дежлы – за ночь не переплывешь! Дежла, лань, дитя, воспаленный монстр... Занялась производством потомства. Жиреет на финиках и марципанах... Сдвоенные кровати с хитрыми механизмами, регулирующими наклон и плотность, с гарантией на пятьдесят лет, как у Девинье. Пятьдесят лет храпа, стонов, сопения... Детские кровати, всегда немного жалкие, как бы ненароком попавшие под пилу, временные, как проездной билет из А в Б, из яслей в первый класс, из седьмого – на продавленную лежанку учительницы по географии, чьи холмы и долины, ах, не найти ни на одной карте.

У Джулии все стены в спальне обиты стеганным, ночного неба шелком. Ее постель – ничего общего со сном, с отдыхом. Место сражения, ринг, низина, в которую, утопая по щиколотку в росистой траве, медленно, сверкая щитами и копьями, спускаются, издали разглядывая друг друга, войска. Сдирала с кровати голубое в мелких звездах покрывало, обнажая бледно-розовые батистовые простыни – одним движением. Учила, как нужно раздевать любовницу. Освежеванная постель. Набухающая кровью. Всегда лишь наблюдал, как она мучается, заведя руки за спину, с рядом мелких пуговиц, крючков, молний. Носила все в обтяжку.

Никогда не помог. Через зеркало в ванной смотрел на ее голые подмышки, белую, как куриное мясо, спину, худую шею с темными завитками волос.

У Татьяны воистину солдатская постель. Койка. И потому, что она в возрасте маршала, и потому, что она – маршал. Кровать-корабль. Для скорых ночных перемещений. От одного берега бессонницы к другому. Волны рассыпанных книг на полу. Словарей. Журналов. Коротковолновый приемник. Держать связь с сушей.

– Я понимаю, что они, ваши дикторы, говорят по-русски! Но почему такими приторно сладкими голосами? Так говорят только с очень маленькими детьми и душевнобольными. Хорошо про вас сказали: “Страна детей разного возраста!”

Бутылка рома. Вернее, бурбона. Бурбоновая чума. Very bad!¹ Два ружья на стене. Дега в простой раме: голубой спрут семи руконог совершенно несовершеннолетних танцовщиц.

Рога мужа над дверью в гигантскую ванную комнату.

– Гаррик был отличным стрелком. Это его рога...

Так и осталось – рога Гаррика. Татьяна, La Dame qui Pique.²

– Во времена менее гнусные и более вегетарианские, мой друг, вы бы себе наштутили целое

¹ Очень дрянная (шутка) (англ.).

² Игра слов – вместо Пиковой Дамы – Дама, которая колет, или (здесь) Дама, которая подкалывает... (фр.).

состояние в какой-нибудь московской “Утке в цепях”¹...

– Состояние? – закуривая “давидоффа” и пускающая дым с фальшивым усердием к потолку...

Кровать в комнате для гостей у Татьяны: *lette matrimoniale!*² На таких проходит жизнь поколений: зачинают, рожают, умирают, зачинают. Пуховые подушки, перины, пододеяльники, все крепкое, чистое, рассчитанное на сто десять лет. Простыни с вензелями Гаррика. G.H.G.

Или – тахта, застланная истлевшим дырявым ковром в книжной лавке Уитмена. Продавленная и покосившаяся тахта. Вместо четвертой ножки – три тома Британики времен колониальных войн. Она пахнет пылью столетий, эта тахта. Очередной бездомный пиит из Констанции или же Сан-Матео, укрывшись заношенным пальто, забытым Норой Барнакаль, тем самым мужским пальто, в котором она появилась со своим очкариком в Триесте, храпит, почивая, аки йог, на голых пружинах, лезущих сквозь ветошь. Под полками с калмыцким фольклором, диалектическим материализмом и Солженицыным. Старик Уитмен с луженой полиглоткой и маленькими острыми глазками. Уитмен, осторожно влияющий на духовное развитие молодых гениев. Укладывающих их спать в русском отделе.

У Роз-Мари был простенький, из Самаритэна,

¹ “Утка в цепях” – юмористический фр. еженедельник, являющийся в то же время единственной газетой, занимающейся серьезными исследованиями.

² Семейная кровать, супружеское ложе (*итал.*).

матрас на полу. Роз-Мари, всегда розовая, словно только что из бани. Или – из Ренуара. Пила, как рыбка. И только патриотический гинесс или же – еще более патриотическое виски.

В первый раз, зайдя как бы случайно:

– Я шла мимо и вдруг вспомнила, вот здесь он и живет! А будучи испорченной на все сто, я решила нагрязнать без звонка. Are you going to kill me?..¹ Я некстати?

И плюхнувшись на кровать, одним движением освободившись от босоножек, задрал юбку, вторым – стянула и швырнула в кресло розовые слипсы.

– Boy, I was waiting for this moment! Oh, please, don't be silly... Come...²

Папа – ирландский профсоюзник, мама – училка. Каникулы в Греции и на Больших Канарских. Смылась в Париж учить языки. Пила, как подмосковная шпана, как какая-нибудь Зойка из Мытищ. Из горла, захлопнув голубые гляделки розовыми с белесыми ресницами веками. Заснула однажды вечером. Вскрытая, как устрица. В то время, как... Мокрая, как из-под душа...

Двадцать лет. Обкусанные до мяса ногти. Своя в доску. Могла врезать с правой любому мужику. В ту последнюю ночь перед ее отъездом была гроза. Свирепая, как турецкий полицейский. На окнах ее крошечной студии не было занавесок. А на фига?

¹ Ты меня не убьешь? (англ.).

² Уфф, я так ждала этого момента! Не будь дураком... Иди сюда... (англ.).

Молнии проносились за окном, как сбитые миги. Роз-Мари! Пьяный солдат в канаве! Теперь живет в Ольстере. Тоже занимается делением на два. Сын и дочь.

Пять лет? Семь. Уже семь!

Никелированная на больших колесиках кровать в клинике. Со всех сторон тянутся провода. И Катрин с головой круглой, как кегля, после химиотерапии. Худая, как пляжный мальчик. Всегда мечтала похудеть. Не лучший способ. Катрин, застывшая, сложив руки на груди, примеряясь лежать под крышкой. Жуть! Стук земли о дерево. Сначала каждый удар отдельно. Отдельно. Отдельно каждый ком. Потом сухой, ползучий, осыпающийся по краям звук. Шмяк... Прсссс... И глухота. Глушь. Все плотнее. И затем скрип. Нет, не скрип! Мягкий, мокрый звук, словно гиппопотаму свела челюсти зевота. Вечности челюсти зевота. Свела. Лежать, вслушиваясь, как сквозь тебя прорастают корни сирени.

Внизу за окном взорвалась музыка. Сволочь! Креслом, удравшим из концертного зала, медленно проехала машина с включенным на всю катушку стерео. Shut up! ¹ Развозит по городу Второй господина Брр. Аллегро нон тропо. Мне Брамса сыграют, чем-то там изойду. Salaud², крылатый морфинист, когда же ты, наконец, пришуршишь?!

¹ Заткнись! (англ.).

² Сволочь (фр.).

Днем все делают вид, что весь мир состоит из одних столов. Все связи в мире – меж столами. Хорошо по-русски: столоначальник. Начальник стола! Генерал-майор столов! В редакции Жан-Пьера – столыще! Ворох телетайпных бумаг, горы вырезок, факсов, справочников, фотографий, строчка – изумрудная, мигающая, живая, ждущая ответа – на экране компьютера. Стол Эрве – за два дня на джипе не объедешь. Бинобль нужен лейтцевских кровей, если хочешь другой берег стола увидеть. IBM, черный лак, гигантская тетрадь срочных свиданий, телефон-коммутатор с блоком памяти на тысячу номеров. Ворчащий, урчащий хромированный вентилятор. Нефритовый обелиск на неподписанных бумагах. Портрет президента с надписью через лацканы пиджака – “Дорогому, во всех смыслах, для Пятой Республики трибуну от...” И умопомрачительное, изгибающееся, подставляющееся черной же кожи кресло. Эрве: – Удобнее, чем в материнской утробе.

– Не помню...

Стол Мэри в агентстве – сплошной Наполеон бумаг: – Ради бога, ничего не трогай! Я одна знаю, что где лежит...

Стол господина Тюке в банке и стол старой мегеры в префектуре (ее лиловый высунутый язык с приклеенной пятидесятифранковой маркой!), стол в бюро путешествий на Реомюре, в приемной дантиста (специалиста по Данте), в советском консульстве – одинаковые дешевые полированные плоскости, разрезающие просителя пополам, выше паха, ниже сердца.

В La Pelote ¹, на последнем этаже спиралью вверх идущего гаража, где запаркованы лишь «яги» да «вольво», над теннисными кортами одиннадцатого этажа, над крышами Парижа, в голубом дрожании воздуха – столы, застеленные крахмальными скатертями альпийской белизны. Баккара, серебро и то легкое дуновение чуть подогретого профильтрованного воздуха, которое бывает лишь в очень дорогих ресторанах. – Балтийский угорек, вчера самолетом, *cela vous dit?* ² В окне эйфелев подсвечник с облаком, напаянным набекрень. И длинные ноги ухоженной мулатки под столом напротив. Приспущенный занавес скатерти и стройные темные ноги, в туфлях на восемнадцатисантиметровом каблуке, утопающие в кровавом ворсе ковра – Дельво!

Стол в гостиной Рикюа. Осторожное радушие. Термостат отношений между приглашенными раз и навсегда отрегулирован и показывает 13,5 градусов. Снобизм *grand cru* ³. Почти не заметен. Но после того, как очередная фраза, выговоренная так, словно с детства мучают зубы, умирает в воздухе, – появляется легкий привкус – интеллектуальная тошнота.

В доме Рикюа все ярлычки рубашек и пуловеров от Мюглера, Береты и Смальто аккуратно срезаны. Не дай Бог! Но все знают, что это Мюглер, Берета и Смальто. К салату и сыру подаются и нож,

¹ Название ресторана; в переводе – баскская игра в мяч.

² Здесь: желаете (*фр.*).

³ Здесь: высшей марки; букв. “лучшего разлива” (*фр.*).

и вилка, но упаси, Боже, прикоснуться к салату ножом! На тебе поставят большой готический крест. Bye-bye, love... Bye-bye, happiness! ¹ Репутация будет испорчена навеки. По крайней мере в трех округах Парижа.

Семейство Риква, устраивающее вечеринки в костюмах восемнадцатого века... Сшитых по заказу в театральной мастерской Ковальчика. Сорокадвухлетний Риква в расшитом серебром камзоле и треуголке, Риква – активист шестьдесят восьмого года! Герой улицы Ги-Люссак! Стол у Риква – толстого стекла, подсвечен снизу и расписан под галле. Как и унитаз в WC. Там же, в хорошо натопленном сортире, где пахнет синтетической черемухой – стеллаж с книгами по психоанализу, карманный однотомник Троцкого и энциклопедия мировой кухни.

В издательстве у Маркуса на столе сотни клочков бумаги с крупно вписанными именами и номерами телефонов: randevу Маркуса, из которых почти все наскоро любовные, а заодно – деловые. Или же – наскоро деловые и, заодно, любовные. На старом, от дядюшки, барселонского еврея, столе с темно-синей, черной почти что кожей и гвоздями цвета запекшейся крови, записки эти, засохшие, как мандариновые корки, скатанные в маленькие свитки, – дрожат на сквознях, словно их только что выгреб из кар-

¹ Слова из песни Саймона и Гарфункеля: “Прощай любовь, прощай, счастье...” (англ.).

манов плаща Дон-Джованни мальчик-разносчик и принес из недалекой оперы...

Всегда косая стопка нераспечатанных писем. Маркус вскрывает только те, в которых чеки. Он щупает, нюхает и смотрит конверты на свет. И никогда не ошибается. Все остальное вышвыривается подручным... Рядом с бронзовой лампой – давно не чищенные амурчики занимают лезаньем по дорической колонне – старинный, чуть ли не из эбенового дерева, с серебряными инкрустациями, телефон. В который Маркус не говорит, а шепчет, язык высывая, кончиком языка слова в трубку заталкивая, слюной капая, копной седых волос закрываясь... В плохо задвинутом ящике стола – Пентхауз. На бюваре всегда какой-нибудь предмет из другой жизни: дешевая брошка, кухонный нож, автомобильная свеча. И – на виду, всегда открытая, монбланом заложённая – чековая книжка: – *Quanto, amor?*¹

“Схема отношений в обществе, – любит повторять Маркус, – кристаллизуется в полночь. Кто – кого. И – как. Все, мой друг, (хотите стаканчик? виски? водки? джина? красного? не советую – дрянное! коньяку? куантро?) – все, что происходит в городах, это война столов против кроватей! И война кроватей против столов. Заговоры, перевороты, обходные атаки, измены, удары в лоб, в пах, в пух... Столы стараются

¹ Сколько, дорогуша? (*итал.*).

захватить как можно больше кроватей, диванов, канапе, двуспальных, queen-size ¹, холостяцких, девичьих и просто матрасов, включая надувные. И не брезгают и спальными мешками. Постели же атакуют столы. Забрасывают подушками, требуют контрибуций, набрасываются с толстыми ватными одеялами, заманивают устричного цвета шелками, подставляют изящную ножку, душат узким пояском пеньюара.

Перемирие празднуется за столом, но интриги зреют среди разбросанных подушек. Мечты о мести лучше всего вынашиваются в горизонтальном положении, когда взгляд прожигает потолок. И лишь малая толика сделок свершается среди холмов коленей и одеял. Сумма прописью требует определенной твердости. Чтобы расписаться на чеке, нужно встать. И тут возникает проблема: горизонтальные сделки в вертикальном положении выглядят бредом...”

Исключением является сам Маркус, который не оставляет обойденной и самую последнюю, плохо бритую, переваливающуюся, как утка, секретаршу. — Elle a du chien! ² Как всегда, когда о бабах — задыхающимся голосом. В его случае стол — это постель, а постель — это стол.

Зная наверно, что комната, как дымом, наполнена голубым рассветным воздухом, он собрался уже разлепить глаза и взглянуть на циферблат, как мягко щелкнул, предупреждая о несущемся по проводам заряде, телефон. Он всегда нервно вздрагивал, преж-

¹ Здесь: максимального размера (англ.).

² Здесь: Она с изюминкой (фр.).

де чем разразиться истерикой. Резко метнувшись, еще вслепую, еще в полубреду полусна, он нащупал аппарат, стоящий на полу. Грянул звонок, он сбил с телефона трубку – мешала ожившая простыня, – приложил к уху.

– Алло?

В трубке сухо стрекотали электрические разряды, словно тысячекилометровый провод зацепил грозное облако.

– Алло?

Из далекой грозы, из горячего стрекота цикад вылутился знакомый голос, отдышливый и хриплый.

– Спишь? Я тебя разбудил? Это Ким...

Отбиваясь от озверевшей вдруг простыни, он попытался дотянуться до выключателя: комната плавала в густых чернилах. – Прости, я никогда не помню сколько часов, какая разница... Голос Кима шипел, словно ему перерезали глотку. Наконец Борис нащупал выключатель, лампа поползла с ночного столика, удержалась, вспыхнул свет, ночь отшатнулась к почерневшим враз окнам. На часах было полчетвертого.

– Ким, – сказал он, садясь, – что-нибудь случилось?

Трубка перестала шипеть, по самому краю слуха проскочила нью-йоркская полицейская сирена и раздалось методичное бульканье.

– Что пьешь?

– Белую...

– Водку?

– Лошадку. “Белую Лошадь”.

Трубка отрыгнула.

– Sorry... Слышь, помнишь, как мы зарабатывали свой миллион?

– На бегах? – Борис хмыкнул. – Неужто это было с нами?..

Туман в голове окончательно рассеялся, все было, как на кокаине – отчетливо резко и бессмысленно празднично.

– Старик! Нам страшно повезло! Знаешь, что было бы с нами, если бы мы выиграла? Мы бы гнили сейчас на дачах в сосновом раю. Сечешь? Под вой самоваров и комариные арии... Не сердись, днем отоспишься, не на завод... Fuck! – Что-то грохнуло, зазвенело.

– Да я в общем-то не спал... Так.., легкая бессонница...

– Гомер, тугие паруса?

– Ага, в точку!

– Борис, помнишь эту стерву, эту курву из третьего подъезда?

– Лиличку? Лили Марлен? Пергидрольную?

– Ее. Угадал... Я ее в Блюмендейле видел. То, что от нее осталось. – Ким зевнул. – Прости... You remember that bitch.., – перешел он на английский и опять протяжно зевнул. – She looks like a nuclear war! Fresh like after exhumation. Holy shit! Weren't you crazy about her? And I! ¹

– В Блюмендейле продавщицей?

¹ Помнишь эту стерву... Страшней атомной войны! Свеженькая, как после эксгумации. Богу в душу... Разве ты не сходил по ней с ума? И я! (англ.).

– Смеешься? Народ отпугивать? Кто ее возьмет! Покупала какую-то косметику... Ты правда не спал?

– Так... бредил... Вернулся поздно... жара...

– Кинч, – вдруг сказал Ким голосом, от которого Борис вздрогнул, – Кинч, – сказал он мягко, – пришли мне денег. Мне нужно срочно свалить отсюда. Завтра. Самое позднее – завтра.

– У тебя собака? – спросил Борис и тут же пожалел: в трубке что-то скулило.

– Слушай, – Ким не ответил, – мне нужно пять-семь тысяч. Я знаю, что у тебя нет. Поезжай к Татьяне. Возьми у нее. Скажи – для меня. Она даст. Я всегда был ее *chouchou*...¹

– О'кей, – сказал Борис. Ему вдруг стало холодно, хотя всем телом он чувствовал горячее до сих пор дыхание города. Рука его зачем-то перевернула вверх дном пустую рюмку, стоявшую на журнале, – темная капля поползла по щеке Делона. – Ты не можешь купить билет на карту? – спросил он. – А уж я тебе за это время нараюю...

– Из карт, – тяжело дышала трубка, – остались лишь игральные. Пришли через Америкен Экспресс. Возле Оперы. Это самое быстрое. Увидимся в пятницу. Если вышлешь завтра. То есть сегодня. У тебя уже – сегодня...

– Ким, – Борис посмотрел в окно, в сторону Монпарнасса, на юго-запад, туда, куда улетали, проваливаясь в трубку, слова, – Ким, что случилось? Как Дэз?

¹ Любимчик (*фр.*).

– Che succede? She’s alright, – отчетливо сказал Ким, – she’s more then alright. She’s fucking dead.¹ Несчастный случай. Пришли деньги. В трубке щелкнуло.

Он выпутался из простыней, свесил ноги с кровати и какое-то время посидел так: разглядывая Делона на обложке “Match”, комок носка, ветку увядшего жасмина. Рядом с Делоном загорелая средиземноморская княжна показывала молодые груди и только что облизанные зубы. Делон был стар, носок – темно-серого, мышинового цвета, шелка, жасмин – жалок до слез... Он отер углом согнутого указательного пальца подтек на носу, встав, набросил на плечи халат и вышел на кухню.

Он стоял на холодном кафельном полу у окна, жуя кусок ветчины с горчицей. Город за окном уже всплывал из волн ночи. Слабый розовый свет дрожал над крышами за колокольной Святого Евстафия. Пахло зеленью и мокрым асфальтом, прибитой пылью.

Он представил себе захламленный лофт² на Перри-стрит, штативы, лампы, софиты, рулон черной фоновой бумаги на стене, огни Нью-Джерси в окнах и Дэз – Дэзирэ в x-size свитере, выходящую из-за стойки кухонного бара с двумя высокими ста-

¹ Что случилось? (*итал.*); Она в порядке. Более, чем в порядке. Она, к чертям, мертва (*англ.*).

² Верхний этаж, склад, чердак (*амер.*).

канами “черного бархата”, “black velvet’a”... Франг-лэ-рускофф we spoke on! ¹ Японский бог! Дэзочка.., как звал ее Ким. Почти – козочка...

Дэзирэ... Желанная. Merde! Shmerdz! ²

Далекий самолет протащил над линией горизонта пухлую, подожженную рассветом нитку, выпуская ее из серебряного брюха. Где-то рядом заверещал будильник и хлопнуло окно. Борис зевнул, почесал всей пятерней щеку.

– Герань, – сказал он вслух, – нужно полить герань.

И вдруг дико, до помутнения в глазах, захотел спать.

Впервые Ким Щуйский спрыгнул с поезда в одиннадцать лет. Дело было в России ранней осенью, и по платформе станции Салтыковская ветер гнал сухие листья и мелкий сор. В тамбуре было накурено; кислый воздух был пропитан пивным перегаром и запахом пота мрачных, плохо бритых мужчин. В те времена двери открывались вовнутрь и автоматического контроля не было и в помине. На Киме были небесного цвета брюки, сшитые матерью ко дню рождения. Правая штанина еще в апреле, в городе, попала под цепь велосипедной передачи и была застрочена серой ниткой. Выцветшая просторная тельняшка досталась Киму

¹ На котором мы говорим (англ.).

² Игра слов от фр. “дерьмо” и немецкого – “боль”.

от двоюродного брата, курсанта нахимовского училища. На голове у Кима была потерянная кожаная кепка, из-под которой торчал непокорный русский чуб.

Стоя в открытых дверях, глядя на стремительно приближающуюся платформу, на высокие сосны, в которых мелькало все еще по-летнему сильное солнце, Ким затылком чувствовал тупое любопытство взрослых.

Он давно уже воображал этот первый шаг, прыжок в никуда. Много ночей подряд в эти дачные летние месяцы, ночей, до краев наполненных комариным зудом, лягушачьим пением, лунным светом, льющим сквозь низкие мохнатые ветви елей с силой водопада, ему полумечталось-полуснилось, как он, лихо отклонившись назад и вбок, спрыгивает на темно-синюю после дождя платформу и, небрежно пробежав два-три метра, останавливается под восхищенными взглядами во все еще мелькающих окнах.

С завистью и замиранием сердца он наблюдал не раз, как вываливаются на полном ходу из душного тамбура скуластые пригородные парни, отпускные солдаты, неуклюжие с виду мужики с цементного завода. Курсанты летного училища, крепко сбитые, в наглаженных, со стрелками, гимнастёрках, соскакивали целой ватагой.

Но лучше всех был знаменитый футболист, наезжавший чуть ли не каждый день в гости к высокогрудой золотоволосой генеральской дочке, жившей возле пруда в розовом кирпичном тереме,

заросшем гигантскими мальвами и пионами. Футболист, отклеившись от исписанной матерщиной стены тамбура, высовывался наружу, и ветер запускал пятерню в его волосы, рвал широкий ворот динамовской футболки, обнажая крепкую шею и загорелую грудь. Он прыгивал легко, в самом начале платформы, когда электричка все еще мчалась, как угорелая, и тормоза лишь начинали скрежетать. На какое-то мгновение он повисал в воздухе – папироска в зубах, руки в карманах широких парусиновых брюк – затем мягко приземлялся и, спружинив на мускулистых кривых ногах, не сделав ни шага, поворачивался спиной к поезду, вынимал изо рта беломор, сплевывал для красоты и исчезал в пыльных кустах бузины там, где был лаз в станционном заборе.

В тот самый первый раз Ким слишком долго смотрел на смазанную скоростью платформу.

– Что, пацан, очко играет? – спросил хриплый голос сзади, и Ким, не дослушав, шагнул в летящую навстречу пустоту, и мир, перевернувшись вверх ногами, ударил его сверху и сбоку и потащил по шершавому асфальтовому небу.

Ссадины и ушибы заживали обычно на Киме, как на кошке: неделя пройдет и под отодранной коркой уже лоснится новенькая розовая кожа. На этот раз ладони, локти и спина заживали целый месяц. Мать делала ему примочки ромашки, прикладывала мякоть алоэ, мазала календулой, но, к величайшему его удивлению, не ругала.

На следующее лето, едва переехав на дачу, еще бледный и городской, Ким на второй же день отправился назад, зайцем, в Москву, спрыгивая на каждой станции. Перед самой столицей у него начали трястись колени и в глазах от слез полыхала живая радуга.

В четырнадцать лет, на спор, он спрыгнул с поезда на платформу с завязанными глазами – “на слух”, как он объяснял любопытным. Лучший друг, Борька Завадский, пари проиграл и в тот же день притащил Киму главную свою драгоценность – от отца доставшийся трофейный цейсовский бинокль.

Ким жил с матерью в Замоскворечье, в угловой комнате старинного особняка. Три ионические колонны украшали фасад осевшего от старости дома. Вывеска конторы по трудоустройству инвалидов была прикручена к входной двери. Контора занимала большую часть особняка. Однорукие мужчины в огромных заношенных пальто, в шинелях без погон, в телогрейках курили в вестибюле, мрачно бросая взгляды на крашенную тусклой бронзовой краской когда-то мраморную Диану с обломком копья в руке.

Безногие вкатывались в приемную по деревянному пандусу, задирая головы к потемневшему плафону потолка. Пухлые ангелы в оспинах револьверных отметин сквозь бурю ряску грязи грустно смотрели вниз. Над боковой дверью, за которой начинались двери коммунальной квартиры, висел выцветший плакат: “Моральный кодекс стро-

ителя коммунизма – в жизнь!”, а ниже, от руки, ко-
ржавая приписка с просьбой вытирать ноги.

Лепнина потолков бывших зал делилась на геометрически непонятные части перегородками комнат, и на долю Щуйских приходилось полками-на, ползеркала и ноги к соседям летящей богини на потолке. Маленькие ноги в складках алебастровых так же к соседям летящих одежд. Пол в коридоре и в комнатах был выложен паркетом, но половицы западали, как клавиши мертвого рояля. Два окна в комнате Щуйских выходили во двор, где в начале июня цвела немощная городская сирень, а в сентябре под развешенными простынями и плескавшимися на веревках рубашками тяжело склоняли головы кровавые георгины.

Сквозь ветви тополей, лежа в узкой и давно уже короткой кровати, в цейсовский бинокль Ким рассматривал окна дома напротив. В окнах медузами плавали одинаковые рыжие или же лимонные абажуры, на подоконниках в зарослях кактусов и гортензий спали коты.

В одном окне на четвертом этаже неподвижно, буддой, всегда сидел сморщенный, как китаец, старик. Рядом, на том же этаже, в начале одиннадцатого, вечером, появлялась молодая женщина в белом медицинском халате. Равнодушно и слепо глядя во двор, всегда одинаково усталыми механическими движениями, она раздевалась. Сначала исчезал халат, потом медленно, пуговица за пуговицей, расстегивалась блузка, женщина зевала и, прежде чем расстегнуть лифчик, подняв локти,

показывая темные подмышки, выбирала из тяжелого пучка шпильки, и, мотнув головой, распускала волосы. Затем она заводила руки за спину — Киму становилось жарко и неудобно под колючим клетчатым одеялом — и, как кожуру с апельсина, сдирала лифчик с полных груди.

На какое-то мгновение она оживала, и Киму казалось, что сквозь подвижную тень тополя она смотрит в упор прямо на него. Но взгляд обрывался, лицо гасло, и вскоре гас и свет в окне.

Лишь старик-китаец продолжал сидеть, чуть повернув голову ухом к улице, словно прислушиваясь к ее ночному прибою.

Цейсовский бинокль и зевающая, потягивающаяся молодая медсестра в окне вызвали у Кима однажды весенним вечером странную судорогу. Матери, к счастью, дома не было, и он лежал под пледом униженный и ошеломленный. Его тело, часть его тела по крайней мере, обладала, оказывается, жуткой самостоятельностью.

Когда он опять поднял бинокль к глазам, в окне медсестры стоял, зажигая сигарету, плешивый широкоплечий мужчина в синей майке. Выпустив дым в окно, он выглянул во двор, что-то сказал вполоборота в комнату и резко задернул занавески.

Лишь окно старика, как всегда, светилось до полуночи. Старая жаба, он сидел все так же неподвижно, с остекленелыми прозрачными глазами, улыбаясь. Киму пришло на ум, что старик, быть может, мертв.

Мать как-то сказала Киму, что знает старика. Его звали Матвей, и мальчишкой он служил у ее деда не то истопником, не то сторожем.

В те времена особняк целиком принадлежал их семье.

Зимой призывного года Ким освоил технику прыгивания на обледенелую зимнюю платформу. Он приземлялся мягко на согнутых ногах, расставив руки в стороны. И как только подошвы его легких летних ботинок касались льда, он резко поворачивался на все сто восемьдесят и спиной вперед скользил вслед за тормозящим поездом. Это уже был высший класс, шик и аплодисменты публики, за исключением, конечно, вокзальной милиции. Ботинки он носил летние на тонкой подошве, скользили они, как коньки... Риск, однако, заключался в том, что вплоть до приземления Ким не знал, был ли морозцем прихваченный лед изъеден солью, зазубрен лопатами или же под кипящей поземкой посыпан рыжим речным песком.

Не раз Кима вышвыривало вбок, сбивало с ног, не раз он клоуном, растопырив руки, крутился, охая, в неизвестном фольклорном танце на одной ноге, притормаживая другой, пытаясь сохранить равновесие. Однажды в марте, возвращаясь вместе с Борисом из Лианозово, где они подрабатывали, разгружая вагоны, он соскочил на подтаявший крупнозернистый ледок, и его мотнуло так резко, так свирепо, что он вцепился в лисий ворот паль-

то спешащей мимо под крупным теплым снегом женщины. Она, смеясь, довольно больно ударила его по руке, но от падения удержала, и он, по инерции обняв ее, в объятиях этих пробыл до самого конца лета.

Жила она под Москвой, на тихой аккуратной станции, в сонном поселке, где снег лежал чуть ли не до первых дней мая. Была она замужем, но муж ее сидел пятый год за распространение каких-то запрещенных авторов и после отсидки собирался сваливать либо в Штаты, либо в Израиль.

Большую часть книг мужа она спасла от изъятия, успев после телефонного звонка из Москвы перетащить на пустующую дачу соседей. За несколько бысролетающих месяцев Ким прочел все то, что на поверхности жизни не существовало. Он и раньше знал, что “Эрика” берет четыре копии, что за “1984 год” сажают, что есть литературное подполье, но он не представлял себе, что подпольем этим может быть просторный дачный чердак с продавленной тахтой, свалкой старых журналов, колченогих стульев и пустых стеклянных банок, аккуратно накрытых старым одеялом и газетами, поджидающих День Варки Варенья...

Позже он с удивлением узнал, что его друг Борис знал и “Четвертую Прозу”, причем наизусть, и Елену Гуро, и Платонова с Пильняком, и эмигрантского писателя, задвинутого на малолетках, автора популярного

путеводителя по дорогам Америки, и даже – Свами Вивекананду¹.

Тем далеким летом они начали говорить на странном языке отрывочных цитат. Стоило одному из них увидеть под мостом у Белорусского бабку с целым кустом жирной, только что наломанной сирени, второй уже неся вскачь: “Художник нам изобразил глубокий обморок сирени...” Стоило помянуть бритвенное лезвие, и оно вытаскивало из памяти “пластиночки “жиллетта” – аккуратные записочки от дьявола...”

То был год превращений: из скуластого угловатого пацана Борис вдруг превратился в розовощекого застенчивого молодого человека, страдавшего приступами задумчивости такой силы, что он буквально вываливался из действительности. Окрик или похлопывание по плечу не вышвыривало его из другого мира, а впихивало в этот, и он дико озирался, хлопал девичьими ресницами и мямлил что-нибудь совершенно невпопад.

Из Питера накатывал к Завадским Женя Смоков, балетоман и оперный маньяк. Был он на семь лет старше Бориса и уже выпустил в каком-то провинциальном издательстве тонкую книжечку на серой, наждачной почти что бумаге о Марии Каллас, Доницетти и Беллини. От него-то к отечественному речевому захлебу прибавился захлеб оперный, нездешний. Итальянскому их два раза в неделю

¹ Свами Вивекананда – индийский философ (1862-1903), ученик Рамакришны, популяризовавший Веданту.

учила мать Кима. В школе же был английский, в котором оба они плавали брассом и кролем. Именно в те времена, намаявшись со случайно найденным в “буках” на Сретенке потрепанным томиком Джойса, Ким начал называть Бориса – Кинчем.

– Come up, Kinch. Come up, you fearful jesuit...¹

– Пешком до Сивцева?

– Che dici?²

И, веером пустив страницы растрепанного либретто:

“Regnava nel silenzio alta la notte e bruna”... – это же Фрэнк Синатра! Начало “Strangers In The Night!” – “Regnava nel silenzio...”³

Август был дождливым, проливным, промозглым. Возвращаясь от Майи в город, вываливаясь на платформу Белорусского вокзала, Ким часто рисковал сломать себе шею. Не от того, что скользили по мокрому асфальту подошвы, и не от того, что размокшие окурки, газетные обрывки и прочий мусор были опаснее мартовского гололеда, а от той ликующей слабости, что размывала тело. Но он третий год уже занимался борьбой в тускло освещен-

¹ Кинч – Kinch – (Клинк – в переводе Хинкиса и Хоружего) – см. первую главу “Улисса” Джойса, здесь: Иди сюда, Кинч... Иди, иезуит страхопослушный... (англ.).

² О чем ты? (итал.).

³ В царстве глубокой и тихой ночи... (1 акт, вторая сцена оперы Доницетти “Лючия де Ламмермур”) (итал.).

“Чужие в ночи” – одна из самых популярных песен Френка Синатры (англ.).

щенном полуподвальном зале на Ленинградском шоссе и в тот единственный раз, когда скорость и слабость, схлестнувшись, сбили его с ног – ловко, как учил мастер спорта Гамбулаев, перекатился через плечо, оберегая тяжелый хромированный “Зенит” в отставленной руке, свою первую фотокамеру, с которой он теперь не расставался.

Соседи по коммуналке согласились на общем кухонном совете под бульканье разнокалиберных кастрюль отдать ему под фотолабораторию захламленную кладовку в конце псориазного коридора: четырехметровую без-оконную клеть с органом сырых труб, урчащих и булькающих, на которых лопалась и струпьями свисала масляная краска.

Его первым снимком был Кремль. Затонувший, размытый волною Кремль. Его отражение. День был солнечный, с легкими перистыми облаками. Широкоугольник “Зенита” взял Кремль целиком от башни до башни, с Иваном Великим, Успенским собором, с летящими по набережной автомобилями, с детьми и пенсионерами, выгуливающими собак под высокой стеною, с вытянутым и скошенным вбок отражением в реке – башен, крыш, куполов, крестов, зубцов стен и облаков над золотыми крестами.

Печатая снимок, Ким оставил лишь нижнюю увеличенную часть – отражение Кремля в мелкой речной ряби – и, вставляя снимок под стекло в ореховую раму, где раньше был зажат групповой фотографический портрет исполнителей

какой-то чеховской пьесы, снимок перевернул – крестами и куполами вверх.

Утопленник-Кремль, призрак отечественной истории, сорвал с губ матери несвойственное ей патетическое восклицание. Про групповую сепию чеховских героев она, отворачиваясь и громко сморкаясь в клетчатый платок, сказала: “Это возле Алупки в Крыму. Семья твоего деда. Щуйских. У них там было летнее имение...” И, пряча платок в карман фартука, закончила: “Чехов! Боже мой! Действительно Чехов! Дурацкий спектакль, который больше не идет...”

Отец Кима был жив. Он жил на набережной напротив Кремля, в сталагмитном сталинском небоскребе и ездил в черном лимузине с личным шофером. Они никогда не виделись. Был он драматургом, писал пьесы. Но в столице и на периферии шла лишь одна – “Полуденные звезды”, написанная еще до войны.

Мать уверяла Кима, что его имя ничего общего не имеет с Коммунистическим Интернационалом Молодежи и что отец его, Иннокентий Щуйский, выбрал имя это из-за любви к Киплингу.

– И к своей основной профессии, – язвительно добавляла она.

Уже не по своей воле спрыгивал Ким на полном ходу через борт вездехода в армии: АКМ в правой руке, полы шинели подвернуты, вещмешок и саперная лопата за спиной да жирная сибирская

грязь, примятая дикая трава или же синий снег под ногами.

Он прыгал и с парашютом и в конце второй тренировочной недели на спор со все тем же неразлучным рядовым Завадским умудрился расстегнуть комбинезон, сдвинуть скрещенные ремни и отправить вниз упругую струю, которая, мгновенно распылившись, замочила ему лицо.

Тридцать семь месяцев службы тянулись бесконечно долго. Второе свое армейское лето Ким умудрился просачковать, работая гарнизонным фотографом при армейском клубе. Смотры на огромном бетонном плацу, полевые стрельбы, чистка оружия, физзанятия, смена караула, полковой оркестр и уборка территории – все это, по словам замполита Руденко, невысокого рыжего хохла, раз и навсегда потрясенного своей удачной карьерой – ему было от силы тридцать – “должно было найти воплощение в черно-белой, а при случае и цветной, – пленку достанем – фотографии, для дальнейших стендов и публикаций...”

На снимках той, кирзой и тройным одеколоном пропахшей эпохи, ослепительно сияли надраенные пряжки и пуговицы, сапоги и тщательно выскобленные подбородки фазанов и стариков. Салаги для фоток не годились: вид у них был растерзанный, жалкий. Рядовой состав вообще, даже отщелканный в “оптимальных”, по учебнику Козырева, условиях, при косом закатном солнце, выглядел на сто ватт тусклее сержан-

тов и офицеров. Макаронники всегда выглядели одинаково сонно и свирепо, служба их не засаливала.

Полковой оркестр, банда алкоголиков, выпускаемая по приказу штаба каждую субботу в город играть на танцах, на снимках Кима весь умещался в раструбе и на боках геликона: карлики и жирафы в фуражках на клетчатом фоне казарменных окон. Были на стенах проявочной в подвале гарнизонного клуба снимки поникших лип, шагающих гуськом, как у Пастернака, друг дружке в затылок, лип, крашенных из распылителя масляной зеленой краской за день до приезда генеральской инспекции из Москвы и продержавшихся в живых еще целую неделю после отъезда высокого начальства. Была перекошенная девятнадцатимиллиметровым объективом голова гарнизонной лошади Фря, официально – Звездочки, везущей к КПП телегу пустых ящичков. Был Батя, стриженный под седой ежик, широкоплечий и, несмотря на гигантский рост, легкий, как девушка, полковник Разгудин, на ночных стрельбах прикуривающий от чьей-то зажигалки, сложивший здоровенные ладони лодочкой. Штатива в клубной фотолаборатории не было, и Ким, зажав гэдээршную “Практику” двумя патронными банками, снимал на длинных выдержках от полминуты до двух, мягко, чтобы не сшатнуть импровизированную конструкцию, отбиваясь от комаров.

Ночное небо на этих снимках было исхлестано веерами огненных траекторий, а на одном из

снимков чуть смазанный движением Батя, стоя у штабного газика, улыбался начальнику медчасти Сарымовой, и его хромовые сапоги, высвеченные вспышками ручных пулеметов, сияли в высокой траве рядом с полосой холодного, крупного, смешанного с гильзами песка. Снимок этот Батя забрал себе, в штаб, и держал его под стеклом возле телефона. Лейтенант Сарымова, темнолицая и полногубая татарка, многих хворых лечила одним неортодоксальным способом, поэтому попасть в санчасть означало не просто сачкануть.

Пленку Ким получал в бобинах, рулонами по тридцать метров, и особенно не экономил. “Практика” аккуратно заглывала бытовые сцены, крамольные для гарнизонных дадзыбао и областной газетенки, но бесценные для его собственного архива: полковой барабан, на котором в шесть рук резались в карты сачки-музыканты; эмалированные кружки с контрабандным шестидесятиградусным спиртом, сведенные вместе под забытый тост над горой окурков в патронной банке, стоящей на толстощекой ряхе Хруща; или же казарму во время послеобеденного мертвого часа – ряды двухъярусных коек, на которых в пыльных снопах летнего солнца, бьющего сквозь высокие настежь распахнутые окна, мускулистые отроки соревновались в неолимпийском виде спорта – у кого громче хлопнет по животу оттянутый книзу и взведенный, как курок, детородный орган...

Тридцатипятимиллиметровый лейпцигского завода объектив выстригал из нудно волочащихся

буден затылки салаг, высвеченные лучами кинопроектора, дважды дырявый камзол Жерара Филлиппа (экраном была рваная простыня), тяжелую кирзу в черной грязи осенней дороги, сапоги, сапоги, сапоги – до самого горизонта, до того места, где проселочная хлябь соединялась с хлябью небесной...

Он снимал темные стены прокуренной сушилки, развешанные под потолком гимнастерки и портянки, гитару в чьих-то веснушчатых руках и белобрысую морду капрала Ющенко, подпевавшего, закрыв глаза и наморщив узкий лоб: “Ах, у нее тыкая маленькая хрудь...”

Была в анналах той фотоэпохи и сцена в бане: тусклый ад огромного барака с низким запотевшим потолком, с облезлыми в крупных живых каплях стенами, со ржавыми трубами, окнами, забранными неизвестно для чего решетками, и – сотня поджарых зыбких теней с шайками и без шаек в руках, кто в очереди за горячей водой, кто ищущий свободную лавку, кто трущий спину земляку. Центром этой сцены, осью, вокруг которой завихрялся рой теней, был майор Карачаев, шестидесятилетний дядька без ремней и кителя, в чем мать родила стоявший под голой тридцативаттовкой. Живот майора спускался складками до самого паха, до мочалки, которой он тер, бессмысленно раскрыв рот и выкатив глаза, в паху. Крачай, как его звали солдаты, был вдовцом и, хотя и имел в городе “фатеру”, ел, спал и мылся в гарнизоне.

Сцены эти Ким снимал на ходу, тайком, заранее рассчитав выдержку и глубину резкости, а негативы, предосторожности ради, держал у корешей в автозвезде. На некоторых негативах были досадные дефекты – непонятные пятна, точки и звездочки. Сначала он думал, что пленка была порченная, потом, попав на нижние посты подземного А-Томска, понял, что то была радиация.

Он иногда подрабатывал снимками – “фотками” бравых и напряженных физий с остановившимися глазами... Парни позировали, сжимая в руках АКМы, в фуражках, лихо заломленных на одно ухо, или же в одних сатиновых трусах с двухпудовыми гириями над головой. Гарнизонная кухня кормила впроголодь, так что на заработанные деньги они раз, а то и два в месяц пировали с Борисом, запершись в лаборатории, – шпротами, вареной картошкой, настоящим сыром и колбасой, прихлебывая из кружек болгарское каберне. За покупками Ким отправлялся в город сам, подписав увольнительную у дежурного по части – в лаборатории вечно кончался закрепитель, бумага третьего номера и перегорали красные лампочки. Вино и питьевой спирт исправно проносил в часть геликонщик Стацинский – в брюхе своего медного удава.

Лафа эта длилась до конца сентября. В последнее воскресенье месяца друзья, получив увольнительные до десяти вечера, отбыли в город, надранные и наглаженные, как две балерины. Город только назывался городом, а на самом деле был настоящей зоной, внутри которой жили работяги

и инженеры подземных заводов. Кроме сибирского питьевого спирта, сомнительной рыбной ловли и мордобоя, в городе особых развлечений не было. На двадцать парней приходилась одна статистическая красotka, и вечера непременно проходили в хоровом исполнении полублатных песен “подлого”, как говорил Борис, жанра, и – в потасовках. Рыбная же ловля была сомнительной по простой причине: местная белорыбца и простой карась звенели, как и все остальное, на какое-то там количество тысяч милли-кюри...

В небольшой квартирке с по-деревенски до синевы выбеленными стенами их в тот день поджидали две аборигенки-десятиклассницы, подцепленные в гарнизонном клубе на встрече с общественностью города. В тот вечер, к ужасу начальника политчасти, Борис читал свои верлибры, а Ким забавлялся новенькой фотовспышкой. Галя и Валя остались на танцы и, не без сопротивления затащенные в фотолабораторию, приголубив спирта с малиновым сиропом, позволили доблестным советским войскам обследовать их роскошную топографию.

На этом, однако, дружба с общественностью и закончилась. Борис и Ким были приглашены на ужин в конце месяца и, спеша назад в казарму к отбою, поклялись с начальством не залупаться, сапоги драить и честно зарабатывать увольнительные в город.

В тот светлый воскресный полувечер в сентябре оба они во второй раз в жизни распрощались с накопленной невинностью: Борис на пухлой, до пола проваливающейся кровати, Ким – в более сложных боевых условиях на заставленной грязной посудой кухне. Десятиклассницы, ярые и крепкие сибирячки, в один голос хотевшие замуж, то есть в Москву, прочь из зоны, от колючей проволоки, радиации, из Сибири, проблемы пола понимали просто и без выкрутасов, и это был их аванс.

Борис и Ким, для которых подруги были первыми живыми женщинами за два года армейской жизни, радостно напились и, вывалившись на улицу, тут же подрались с патрулем стройбатовцев. Все, наверное, обошлось бы, оба занимались боксом и бегали обязательные три км по утрам, но оторвавшись, они решили непременно еще выпить, добрать, а так как все магазины А-Томска, то бишь единственный “Гастроном”, были закрыты и закрыта была и местная аптека, где существовали чудные травяные настойки от кашля и прочих мозолей на мозжечке, то через ловко выдавленное окно первого этажа они вломились в операционный корпус госпиталя, зная наверное, что у эскулапов спирт не переводится никогда.

В час ночи Борис в белом, криво на спине завязанном халате, в резиновых перчатках, пальцы которых торчали волдырями, в марлевой маске, сквозь которую вставлена была сигаретина, предложил Киму удалить к дьяволу никому не нужный в этой жизни аппендикс. Идея ужасно рассмешила обоих.

Голый до пояса, с расстегнутыми галифе, но в сапогах, Ким улегся на холодный до мурашек операционный стол, и друг детства, ефрейтор Завадский, он же Завад, по кличке Завадило, хихикая сквозь тлеющую от сигареты марлю, в одной руке держа стакан теплого, из-под крана водой разбавленного спирта, в другой – голубой скальпель, сделал в правом нижнем углу брюшной полости, рыжей от непросохшего йода, легкий и ненастоящий, как ему казалось, надрез. Он и вправду шутил и скальпель вел почти по воздуху, да и кровь выступила не сразу, сначала всего лишь несколько бисерных капель, но когда Ким, тоже со стаканом “анестезии” в руке, попытался приподняться, чтобы взглянуть, кровь пошла по-настоящему, и оба мгновенно протрезвели.

Разбуженный смехом и воплями дежурный медбрат, матюгаясь по латыни, кровь сумел остановить и поставил зажимы.

Борис пришел навестить Кима в санчасть через две недели – на губе он осунулся, лицо его было красным, обветренным, красными были и воспаленные глаза, но он был весел и зол, рассказывая про разгрузку вагонов с цементом, как про каникулы в Судаке.

Выписавшись из санчасти, Ким сдал фотолaborаторию сонному усатому макароннику из хоззвода, сжег в старом ведре сотни три фотографий и при первой же возможности – сержант Лозин уез-

жал в Москву на похороны отца – отправил рулон негативов домой. Он отсидел свои десять суток и был переведен на нижние посты особо важного гособъекта номер 17 стоять с “калашниковым” за спиной у дверей зала 33-А, проверять пропуска у работяг в лавсановых защитных костюмах, потеть в наморднике респиратора да засвечиваться.

КП – конечный продукт – вывозили из малой зоны на мощном грузовике, задраенном со всех сторон черным брезентом, под конвоем трех БТРов, двух газиков и кэгэбэшной Волги.

Обогащенный уран был основной продукцией подземелий, побочными продуктами были лейкемия, самоубийства и хронический страх.

Борис, разжалованный в рядовые, хандрил и, хотя до дембеля оставалось всего лишь одиннадцать месяцев, задумал косить на психа и комиссоваться. Он отправил письмо в Москву профессору Снежневскому, оспаривая его последнюю публикацию в журнале “Здоровье” о вяло утекающей из жизни шизофрении. Его тут же отправили в недалекую психушку, откуда он строчил, отправляя со знакомым шофером, кафкианские письма, описывая “сцепленных, как вагоны” педрил, которых лечили гормональными впрыскиваниями и верзилу-тракториста, вступившего по пьянке в интимную связь с козой.

Тракторист был уверен, что коза одарила его нехорошей болезнью, и уверял врачей, что в киш-

ках у него полным-полно червей. Бедняга умолял “срочно вскрыть его и почистить”, за что и был отправлен на психдачу. Дважды он сам пытался распороть себе брюхо: один раз украденными ножницами, второй, уже в изоляторе, осколком стекла.

“Доктор Славчук, – писал Борис, – сам порядочный псих с перекошенной раз и навсегда ряхой, все допытывался, почему тракторист думает, что простая советская коза одарила его гнусной болезнью. Застенчивый верзила, обладатель огромных красных рук и белесых, альбиносских почти что глаз, отворачиваясь, мямлил, что коза “во время соития была какая-то невеселая...” “Роковая встреча с козой, – заканчивал письмо Борис, – состоялась в день свадьбы брата тракториста, взявшего в жены, судя по всему, зазнобу альбиноса. Геркулес наш напился и на узкой лесной тропе повстречал свою рогатую, с опущенными ресницами, судьбу...”

Ким во время полевых учений, волной прокачавшихся по области, не раз видел эти деревенские местные свадьбы. Водка обычно стояла в снях или у крыльца в больших эмалированных ведрах.

К новому году Бориса и вправду комиссовали. Вернувшись в Москву, он вошел в штопор настоящей, без дуриков, депрессии, и два месяца новостей от него не было. Выйдя из клиники в Покрово-Стрешнево, он послал Киму мрачное

письмо, слова которого шуршали, как клочки грязной серой ваты. “Нам засветили целых три года жизни...” – этой фразой кончалось его послание.

Ким демобилизовался в конце ноября. На пересадке в Новосибирске шел крупный снег, в Москве лил ледяной дождь, машины месили густую бурую грязь. Как начинать жизнь – было непонятно.

После армейской кирзы городские ботинки были легче пуха. Не на платформу, а под откос, в траву, полную одуванчиков и молочая, спрыгнул Ким однажды июльским утром шестьдесят девятого года: скорый Москва-Харьков не останавливался на малоприметном бунинском полустанке возле Курска, где проводила лето ясноглазая студентка Строгановского училища живописи и ваяния, в октябре расписавшаяся с Кимом в унылом ЗАГСе Москворецкого района столицы, а в апреле семидесятого в том же казенно-скучном заведении, но на первом этаже, получившая после сорока минут ожидания свидетельство о разводе.

Та же привычка дважды спасала ему жизнь. В первый раз от ножа в ночной электричке возле Долгопрудной, когда два мрачно-пьяных амбала загнали его, забавы ради, в угол заплыванного тамбура, но получив по порции коротких ударов, вытащили: один кастет, второй самодельный с набор-

ной ручкой нож. Ударом ноги Ким распахнул мотающуюся из стороны в сторону дверь – ночь была сырой и кромешной. Электричка еще не набрала скорость, и он знал, что после короткого мостка, по которому громко простучали колеса, был некрутой, выложенный крупным гравием откос. Сделав ложный выпад, не спуская глаз с ножа, наощупь перехватывая мокрый поручень и ища ногой ступеньку, он, оттолкнувшись, шагнул назад в темноту и, падая, втягивая голову в плечи, кувыркаясь, подставляя бока и задницу под удары невидимых кочек и корней, он скрипел зубами и задыхался от ярости.

Но решение было единственно верным: ножа он боялся больше пули, и даже деревянный в руках рыжего капитана Цырюльниково на занятиях по самбо вызывал у него ужас.

Второй раз техника катапультирования спасла его от тюрьмы, когда он вывалился из гэбэшной “Волги” на повороте возле гостиницы “Россия”, там, где старое здание биржи зияет черными дырами бесчисленных проходных и сквозных подъездов.

Он был задержан – после мягкого запугивания и отеческих увещеваний вести себя *comme il faut*¹ – за устройство нелегальных фотовыставок. Его черно-белая Россия провинциальных городишек, солдатских барачков, разрушенных и испохабленных церквей, бульварных пьяниц, страшных,

¹ Как надо (фр.).

как смертный грех, вокзальных блядей, величественных чиновников в надвинутых на растопыренные уши шляпах, загульных бородатых подпольных художников – давно стала классикой на Западе.

Двухсотстраничный альбом “Красное Зазеркалье” вышел несколькими тиражами во Франкфурте, затем в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, далее везде...

Ким предпочел бы простое без комментариев издание, но покладистый в Москве, щедрый и внимательный Люц Шафус, увы, снабдил альбом текстом знаменитого диссидента, под напором свирепой и хронической мегаломании писавшего патетично, неграмотно, с надрывом и неотличимо от статей “Правды”, но с противоположным идеологическим знаком.

Капитан Коломеец, приятный крепыш с перебитым боксерским носом и девичьими глазами, показал Киму свое удостоверение жестом, каким в публичных местах дают взглянуть на порнографическую открытку.

Обыск ни к чему не привел, хотя одинаковые, с виду неуклюжие дядьки из бригады Коломейца и распотрошили комнату Щуйских в пух и прах. Заглянули они даже в полкамина и за ползеркала, вытащили несколько половиц и пустили веером одну за другой книги всех трех стеллажей.

Кой-какие снимки им все же достались. На одной фотографии молодая женщина с распущенными волосами бежала сквозь высокую траву, и на-

встречу ей, наклонившись под углом атаки, бежало тяжелое, в клочья грозой изорванное небо. Женщина смеялась, закинув голову назад и вытянув руки, словно собираясь упасть. Капли дождя или пота стекали по птичьему изгибу ее шеи, молодой груди и чуть припухшему животу: на ней не было и нитки одежды.

В том же конверте было несколько фотографий Бориса – возле Ивана-Воина на Димитрова, на теннисном корте в Сокольниках, с накрашенной мордой и в парике во время новогодней пирушки с друзьями из ин-яза – облако сигаретного дыма в объектив, выпучив губы, пускала смуглая парижанка Ивон. Фото матери за несколько дней до смерти стояло на каминной полке. Мать сидела у заросшего фикусами и лимоном окна, обложенная подушками, со сползшей с колен книгой на французском и смотрела мимо объектива, мимо окна, мимо кустов сирени, которая пенилась за черной листвой фикусов.

– Мимо жизни, – пальпируя тупую боль, думал Ким.

Затонувший Кремль, его первая фотография, выцветшая и склеенная пожелтевшей полоской скотча, валялась под тахтой вместе с грецким орехом и пыльным носовым платком неизвестной эпохи. Подняв платок двумя пальцами и встряхнув, Коломеец протянул его Киму. Это были серого шелка слипсы с неизвестно чьих прелестей.

Формально Коломеец, ласково улыбаясь, застенчиво обвинил в тот раз Кима в изготовлении порнографии. Бегущая сквозь приречную траву студентка живописи и ваяния, могла, оказывается, вызвать в народных массах нездоровые содрогания.

– Лечить надо, – сказал Ким, – в таком случае ваши народные массы.

– На всех, – отвечал капитан Коломеец, – аспирин не хватит...

В Волгу Кима посадили меж двух дядек. Но возле гастронома на Ордынке один из них выскочил, и Ким, ведя с Коломейцем задушевную беседу о последней ленте режиссера Бертолуччи, который делал фильмы то Берто-лучше, то Берто-хуже, незаметно сполз к левой двери. Ему повезло: возле самого Зарядья дядька с сигаретиной в зубах полез через спинку сидения прикуривать в лапы Коломейца, и в тот момент, когда синее пламя озарило его крестьянскую рожу и лиловую щетину, Ким одним движением открыл дверь и вывалился под колеса встречного такси. Такси крутануло в сторону, сбilo урну, скрежеща тормозами выскочило на тротуар, за ним, ревя в пароходный гудок, тесня Волгу, дребезжа, перегородил улицу интуристовский автобус.

Ким, сначала на четвереньках, обдирая ладони, а потом на своих двоих рванул по лестнице вверх.

Старую биржу он знал как свои пять. Промчавшись верхней галереей вдоль на ночь запертых

контор нотариусов и сбытовиков, он слетел вниз по стертым мраморным ступенькам подъезда в тихий темный вечерний переулочек и через внутренний дворик с тополями и скамейками, миновав розовую чистенькую церковь Петра и Павла, выбрался в Кривоколенный. В переулочке, третье окно от угла, жил фанатик кула, гигант джаза, пианист из Арагви – Саня Монк. В девичестве – Гольдштейн. Монк был свой в доску, он выложил две сотни, не задумываясь, взялся передать письмо Шафусу и пообещал сделать гражданину Щуйскому вызов к тете Изе, проживающей возле заброшенного вокзальчика турецкой железной дороги в жарком городе Беер Шева.

Через тридцать часов Ким лежал на сеннике на террасе под низкими киммерийскими звездами, слушая, как ровно и мощно одна за другой накатываются волны прибоя, поджидая полночную программу новостей из Лондона. Диктор последних известий, говоривший со странным нейтральным акцентом, закончил сообщение из Москвы стандартным “из достоверных источников в советской столице стало известно об угрозе, нависшей над мастером русской фотографии...”.

Ким “спидолу” выключил, недослушав. “Повезло Шафусу, – подумал он. – Выпустит “Зазеркалье” четвертым, пятым, а если меня посадят, то и вовсе – шестым, седьмым, двенадцатым тиражом...”

Через несколько недель солнцем превращенный в собственный негатив, с выгоревшими от-

росшими волосами и курчавой бородкой Ким получил на поселковой почте странное письмо: длинный несоветский конверт с окошком, в котором виднелось его имя и адрес. На невиданно белой бумаге невиданно четкой кириллицей было напечатано лаконичное сообщение о том, что Мира Соломоновна Щуйская с нетерпением ждет воссоединения со своим двоюродным племянником Кимом Иннокентиевичем и поджидает его в родном городе Хайфа. Приглашение было скреплено красной шелковой лентой с печатью.

И лишь через несколько лет, встретив на углу Канал-стрит и Бродвея седого толстого смеющегося Монка, Ким узнал, что сам Монк не успел заказать ему вызов в Израиль – кромешники приперлись к нему той же ночью, и в течение четырех лет Монк играл на аккордеоне в самодеятельности небольшого сплоченного коллектива, голубопогонной судьбою прописанного севернее семьдесят восьмой параллели.

– С такой фамилией в Израиль! – Коломеец ел яблоко, громко хрустя и закидывая голову к потолку. – Кино какое-то! Милославский, оказывается, еврей! Волконский – из раввинов. Корсаков живет в Тель-Авиве. Официально, по крайней мере... Барятинские оказались в родстве с Леви. И вот теперь Щуйский, последний из Щуйских, отправляется в Сион!

Он впился в яблоко с такой силой, что сок потек по его толстой нижней губе и чистенькому подбородку. Не глядя, Коломеец вытащил из кармана цивильных брюк аккуратный клетчатый платок, вытер рот и ловко бросил огрызок в мусорную корзину под портретом генсека.

– Никуда вы не поедете! – меняя тон и вставая из-за стола, сказал он. – Голых баб вам мало в Союзе? Освещение не то? Солнышко не под тем углом светит?! Или пленка... как ее? слишком зернистая? А подписка о неразглашении? О невыезде? Родина, Щуйский, не рубаха! Через голову не стянешь!

– Армейские подписки были на пять лет. – Ким весело разглядывал капитана. Тот был либо пьян, либо нанюхался реквизированного зубного порошка, либо был гениальнее самого Смоктуновского.

– На пять, – повторил Ким, – а прошло семь...

– Соседи ваши вон не едут, – не слушал Коломеец. Лицо его морщилось, глаза мигали. – Шушуновы! И соседи соседей тоже не едут! Бучкины! Он отошел к окну, за которым пустел асфальтовый, в грубых швах и заплатках дворик, несильно врезал кулаком по кресту рамы, спиной сказал: – Из-за отца не пустим. Смешно сказать! Чтобы сын самого Щуйского! Иннокентия Александровича! Понятно? И все дела!

Он повернулся к Киму, закачался на каблуках, по лицу его от уха до уха расплзалась дурацкая мальчишеская улыбочка.

– Прощайте, князь, – сказал он, кланяясь и чуть пятясь. Ким, оскалившись, встал и вышел.

В коридоре пахло хлоркой и валерьянкой. В приемной, под прицелом медленно поворачивающейся телекамеры сидела, расставив огромные опухшие ноги с черными выпирающими венами, грузная старуха и обмахивалась выездной анкетой. Возле нее не пахло ни хлоркой, ни валерьянкой, а нафталином.

Если бы не крупные кремлевские звезды в вечернем небе, видные в проеме окна, можно было бы подумать, что дело происходит на Западе – в Лондоне или, быть может, Амстердаме. Щуйский-старший был на голову выше Кима, широк в плечах, с крупным по-бульдожьей обвисшим лицом и аккуратно зачесанными назад седыми волосами. Он сидел, чуть наклонившись вперед, в мягком свете шелкового абажура под акварелью Бенуа в бледного золота раме.

Первое, что заметил Ким в этом совершенно чужом человеке, были руки. Длинные нервные пальцы порывались двигаться, сплетались и расплетались на коленях, щупали, словно прицениваясь, добротное сукно брюк, взбегали по лацканам твидового пиджака к тугому узлу шотландского галстука, падали обратно на колени – ладонями вверх, словно приглашая убедиться в собственной

незащищенности, но тут же снова бросались друг на дружку, с глухим хрустом выламывая суставы.

Миловидная домработница в кокетливом фартучке вкатила хромированный, по блеску почти что хирургический, столик. Щуйский-старший пил шестнадцатилетний солодовый скотч, Щуйский-младший – ледяную водку из темно-зеленого штофа, на котором кривлялись черти и вязью было выведено: “Пей-пей! Увидишь чертей...”

“Полуденные звезды” Щуйского, пьеса, принесшая ему известность, сталинскую премию и, само собой, деньги, была чем-то вроде прикрытия, обложки пыльного, но плотного занавеса, за которым бесшумно вращались огромные, хорошо смазанные колеса совсем другой жизни.

На самом деле он написал сотни пьес и сценариев, о которых ни московские, ни питерские критики никогда и не слышали. Пьесы эти разыгрывались не на сцене, а в жизни.

По сценариям этим ставились настоящие спектакли, и если в тексте “разработки” значилось, что жгучий брюнет соблазняет взбалмошную блондинку, то блондинка действительно шла в постель с брюнетом и даже одаривала его, как доказательством, какой-нибудь фауной или флорой. И если в другом или в том же сценарии Щуйского Икс вдруг умирал от инфаркта, от неожиданно разросшейся опухоли, то он умирал и в жизни.

Обычно все же – от несчастного случая, на дороге, в метро, но чаще от двух выстрелов в затылок, хотя, случалось, и от инфаркта, и от рака, на что уходило гораздо больше времени...

Щуйский-старший был официальным главным сценаристом, внутренним драматургом управления “К”. В штате его отдела бригада талантливых молодых людей занималась добычей и обработкой сырья, информации, необходимой шефу для его разработок. Они подготавливали ему подробные сведения о топографии далеких городов, о климате, национальном характере, о персонажах, вовлеченных в игру, об их пристрастиях, их родственниках, об устройстве их квартир, о марках их машин, о том, какие сигареты они курили и что предпочитали на аперитив. Персонажами, то есть действующими лицами, по своей и не по своей воле, были агенты, их противники, побочные вспомогательные пешки и фишки. Роли их и их качества кодировались Щуйским-старшим со свойственным ему юмором и любовью к жаргону.

Соня – был агент, спящий до нужного момента, до пробуждения, вжившийся в каждодневность чужой страны, ушедший под ее кожу, как клещ. Гермы, от Гермеса, были связные, слаломлирующие меж странами, меняющие имена и лица, иногда – секс с актерской профессиональностью и умеющие растворяться в любой среде без осадка, как западный кофе, при первом же сигнале тревоги. Бич, бичи – были исполнителями, палачами; им Щуйский, если и подавал руку,

то только левую, а если случалось вместе пить, и наливал – левой рукой.

Были в его отделе и лабы: технари, знатоки механики и электроники, способные из швейной машины, инвалидного кресла и оконной шторы за полчаса сделать самолет. Или же, при необходимости, ввести автономный микрофон в слепую кишку знаменитого баскетболиста. Причем во время матча... Лабы выросли из лабораторных работников. Но были и спецы чрезвычайно узкие – знатоки миланской моды, улицы Спига, производства редких сплавов, выращивания невысокого кустарника *erythroxyllum* соса, листья которого после превращения в пасту и выпаривания дают бриллиантово-белый порошок С17-Н24-НО-4, который, в свою очередь, попав в кровь, превращает мир в пульсирующую радугу...

Вместо русского “источники” Щуйский-старший употреблял английское “сурсы”. “Сурсами” были обычно аборигены, купленные или же перепроданные, запуганные или же сами напугавшиеся, озлившиеся или же умно разозленные, идеалисты, авантюристы, жадные до капусты, до зелени, до пшенички, щавеля или же до грешной юной плоти, ресурсы которых в подотделах Комитета были неисчерпаемы.

Климатом была политическая ситуация, конкретная, с точной датой. Обстоятельствами – сумма данных о нужном человеке, будь то “сурс”, поршень – то есть тот, кто толкает и проталкивает идеи и дела, – будь то ЖМ,

j'aime ¹, увы, потенциальный жмурик. Декором было все: топография городов, улочек, площадей, подземных переходов, планировка квартир, ресторанов, контор, вокзалов, ватерклозетов и, конечно же, гаражей. Затевая пьеску, Щуйский-старший знал, в какую дверь войдет “сурс”, за какой столик сядет, в каком ресторане. И в какой момент (и почему) он из Кевина Уолтсона перейдет в категорию жмуриков, исчезнет, как в цирке...

Отдел “К” получал тонны журналов со всех концов света, брошюр, каталогов, афиш, рекламных буклетов, справочников из бюро путешествий. Здесь были телефонные книги всех столиц мира, и если одна страница парижских “желтых страниц” была вырвана, ее присылали диппочтой.

Щуйский-старший работал на обычном “макинтоше”, куда, в зависимости от сценария, вводились все необходимые данные. Он любил, когда его называли Дюма-отцом и, наращивая на каркас синопсиса клочья живого человеческого мяса, испытывал азарт и холодное наслаждение.

Он знал себе цену, знал, что хотя “они” на самом верху, лишь этажом выше, занимаются тем же самым, что и он: кроят и перекраивают свои (бездарные!) сценарии, рассчитанные на всю планету, а ему, Иннокентию Александровичу, приходится лишь обеспечивать срочные хирургические операции, спасать их от хронических провалов, латать их тылы, переписывать их чудовищные прологи и

¹ Люблю (фр.).

финалы – он знал, что на самом деле он был и будет невидимым Номером Один.

В зале контроля работали десятки спутниковых телевизоров и мощных коротковолновиков, наготове стояли видеомагнитофоны, диапроекторы, шуршали ленты телетайпов, а обитая кожей дверь вела в небольшой и уютный кинозал. Иногда Щуйский-старший уступал все эти игрушки актеру, исполнителю какой-нибудь звездной роли, которого нужно было натаскать в деталях, во второстепенных завитушках орнамента той или иной страны, дать ему насмотреться рекламных роликов, клипов, приучить к шуткам их интеллектуальных телезрителей, к голозадым эротическим шоу.

Но чаще Щуйский-старший с Главным, сухим очкариком из керченских греков, просиживал допоздна в зале контроля, следя за реакцией западных служб на одну из его последних постановок, и, если нужно, на ходу корректировал живой пульсирующий сценарий.

Главный был не из тех, кто разжимает губы, чтобы улыбнуться, но, слушая догадки европейских или же американских спецов, комментарии советологов, а иногда и самих участников постановки, он обнажал крупные прокуренные зубы и выдавливал сухой птичий клекот.

Щуйского-старшего Главный считал своей правой рукой и не раз говорил ему, что “власть – это искусство контроля воображения” и что “гениальное воображение Щуйского вне контроля органов было бы слишком опасным для страны”.

Иннокентий Александрович играл в живых людей, и это было куда как интереснее, чем писать пьески для МХАТа. Его мечтой, осуществить которую, увы, в свое время не удалось, было творческое содружество с тем, кого он считал своим тайным учителем, с тем, кто потряс его раз и навсегда мощью и свободой фантазии, с автором “М & М”, “Мастера и Маргариты”... Благодаря родителям и детству, которое короткое время дрейфовало в штормовых, но все же теплых водах еще не закрашенной красным империи, он знал с полдюжины языков, и библиотека его была на уровне приличного университета – какого-нибудь Лилля или Килла. Он знал всех королей черной серии шпионских романов, завидовал иногда Ле Карре, ценил Форсайта, но был твердо уверен, что его сюжеты разработаны на порядок выше.

Иногда ему показывали заснятые скрытой камерой сценки: грудастую простушку, скачущую верхом на министре обороны Бумбум-ландии, трех вооруженных дротиками папуасов, танцующих возле обугленных обломков вертолета, или же идущего переулком джентльмена, у которого вдруг отказывал вестибулярный аппарат и который, сам себе не веря, начинал садиться в мелкую бруклинскую лужу под накапывающим несильным июльским дождем.

Иногда это был лишь звук, и Щуйский-старший сидел в тисках стереонаушников, слушая прямую трансляцию, крякая, бессмысленно перебирая на столе бумаги, замирая и многозначительно покачивая головой: “Так!..”

Иногда он устраивал репетиции, кричал на актеров, тряс седой головой, велел “добрать” в таком сложном ремесле, как попрошайничество на улицах Лондона, или же, что не легче, в работе барменом в гомосексуальном притоне Мюнхена. В отличие от пьес, идущих в театрах, его пьесы приносили всегда результаты конкретные: пробирку с пробой грунта, рулон микропленки, информацию на музыкальной кассете между двумя ударами клавиш, то есть деньги – миллионы и миллионы долларов, реже – чье-то исчезновение, чью-то смерть.

Все это отмечалось другим отделом в их и им подвластных списках, и бухгалтерия эта Щуйского-старшего интересовала мало. Он был старой школы, и принцип чистого искусства был важнее тривиальности, какой-нибудь наконец-то заполученной секретной технологии изготовления суперпроводников...

Обо всем этом Ким узнал из английской книги об отце “Серый кардинал красных”, написанной майором Глуховым, бывшим оператором зала контроля, специалистом по Исландии, ставшим после побега потенциальным жмуриком № 1. Глухов писал в предисловии, что западные дипломаты и заезжие сотрудники военных министерств регулярно ходят на спектакли “Полуденных звезд”, пытаясь разгадать тайну Щуйского. Сама же пьеса была обычной жвачкой сталинской эпохи: с парткомами,

активистами, буржуазной моралью и поджогом клуба. Лишь один провинциальный критик во времена хрущевской оттепели рискнул написать, что, быть может, пьеса эта является на самом деле жуткой гротескной сатирой, издевкой, карикатурой на передовое общество. Глухов же делал вывод, что добровольно вернувшийся из Берлина в Москву Щуйский, не желая пристраиваться к режиму, крикнуть душой и подделываться, как все остальные, чистосердечно перешел на сторону победителей.

Сидя в складках огромного кожаного кресла напротив этого человека, Ким, как он ни старался, как ни напрягал вялую мышцу сыновнего чувства, не испытывал к нему ничего, кроме, быть может, любопытства.

Он думал о матери и пытался вызвать в памяти тот ее ранний образ, когда она еще носила роскошную косу, короной уложенную на голове, и шуршащие широкие плащи...

Но ни ее дачные легкие платья из крепдешина, ни ее загорелые плечи, ни камешка на черной бархотке, ни шелковые со стрелкой чулки, сползающие с облысевшего плюшевого кресла на пол, туда, где валялась программка “Жизели”, не желали появляться в присутствии отца. В том углу памяти, который он так мучительно, так настойчиво ворошил, она сидела, закутанная в ветхий клетчатый плед у окна, подушка под головой, вечная раскрытая книга на коленях, и слепо смотрела в окно.

Ким пробовал, как при двойной экспозиции, сложить эти два образа вместе, или, по крайней мере, сблизить их, соединить в коллаж: один прозрачный, на исцарапанной пленке памяти, и другой, все еще плотный образ нервного ухоженного старика, позвонившего рано утром, впервые в жизни, назвавшегося староманерно с небольшой запинкой: “Здесь Щуйский” и пригласившего зайти поболтать, нет! побеседовать часов в десять вечера... Чтобы совместить эти два образа, заставить их взяться за руки, соприкоснуться плечами, нужно было выровнять свет: ярче высветить мать и пригасить твидового джентльмена. Да и то вышла бы подделка... Для того чтобы их сблизить, нужна была другая сила – прощение, а ей никто из троих, и уж точно – из двух, не обладал.

– И что же вы, – на “вы” он запнулся, – собираетесь делать, позвольте узнать, в ваших заграницах? – наконец спросил Щуйский-старший.

– Жить, – сказал Ким и протянул руку к штофу.

– И где же? Не в Хайфе же?

– Понятия не имею. В Нью-Йорке, в Хайфе, в Катманду... Не знаю...

– Языки? – правая рука Щуйского-отца вскарабкалась на инкрустированный слоновой костью столик и шупала серебряные табакерки.

– Не понял?

– Языки вы знаете? Speak English? ¹

– Да-да... английский, конечно же, – Ким наклонил штоф, – французский немного, vraiment pas trop...² Водка была настояна на черносмородиновых почках, которые одна за другою плюхались в рюмку. Ким поставил штоф на место, закрыл граненой пробкой и, достав из серебряного стаканчика зубочистку, поддел ею плавающую в рюмке почку. На вкус она приятно горчила. Он поднял рюмку к глазам, повертел и, не произнося тоста, опрокинул ее в горло...

Щуйский-старший встал и отошел к книжному шкафу.

– Насколько я понимаю, – сказал он, не поворачиваясь, – вы все же не собираетесь менять профессию?

Он повернул ключ и, лишь приоткрыв дверцы, вытащил глянцевый, in folio, тяжелый альбом “Зазеркалья”. Он вернулся в кресло под мягкий и теплый свет лампы и, достав откуда-то сбоку очки, развернул альбом на коленях. Мелькнула в подпружке ремней широкая спина Бати, гарнизонная Звездочка в противогазе во время атомной тревоги, дачные качели с веснушчатой голоколенной девчушкой, навсегда Красная площадь под крупно идущим снегом, волосатая грудь пляжника с татуированным Сталиным, мужичок с двумя авоськами пустых бутылок и папиросиной в зубах, лицо

¹ По-английски говорите? (англ.).

² Право не слишком (фр.).

молодой женщины в раме троллейбусного, дождем исхлестанного окна.

– Работа серьезная, – захопнул альбом Щуйский-старший. – Три четверти можно напечатать у нас. Хоть завтра. Хочешь... – неожиданно перешел он на “ты”, руки его вытянулись и замерли. – В АПН? В ТАСС? Все тот же Париж, Нью-Йорк, Катманду, как ты говоришь... Но без надрыва... Без проблем... Захотел – вернулся. Домой... В Москву...

– Мать меня в детстве, – сказал Ким, опуская голову, – часто запирала в комнате. Когда уходила на свидания... В шкафу даже. Наказывала. Я там заснул однажды... Так что я теперь хронический клаустрофоб...

– И Россия для тебя большой шкаф, клетка, – оскалась, закончил за него отец. Руки его снова ожили, втянулись, заиграли, забарабанили по обложке “Зазеркалья”.

– Что ж касается журнализма, ангажированного или нет, – Ким осторожным движением поставил рюмку на столик, – то я и из него, из фотографии то есть, не собираюсь себе устраивать новый шкаф. Какая разница, чем заниматься! В Катманду!.. Одна шестая хорошо, но есть еще пять-шестых...

– Говно твои пять-шестых, – тихо, но отчетливо сказал старик Щуйский, приподнимаясь.

Губы его начали жевать какую-то фразу, но он осилил себя, открыл альбом, с треском закрыл, выбрался из кресла и пошел к шкафу. Вернувшись, ссутулившийся и обмякший, он развел

руками, хлопнул себя по бокам, но опять ничего не сказал.

Домработница приоткрыла дверь в ярко освещенную хрустальной люстрой столовую и кивнула головой. Был виден угол стола, скатерть в крупных цветах, блеск серебра, французская, судя по форме, бутылка вина, какая-то охотничья сценка на стене.

– Пойдем перекусим, – сказал старик, двумя пальцами выковыривая из табакерки розовую таблетку. – Не каждый же день...

И эту фразу он не закончил и, шаркая ногами, пошел к двери.

– Рита, – услышал Ким, – убавьте-ка свет.
Столовая начала медленно гаснуть.

В начале первого, вызывая Киму лифт, стряхивая пепел “монтекристо” на ковровую дорожку, он сказал:

– На Коломейца внимания не обращай. Моль. На нафталине кейфует. Пойдет стоять в валенках... Он помедлил. Лифт поднимался, перестукивая на этажах. – Передумаешь, дай знать. Дым сигары размывал верхнюю часть его лица.

– Перед Соней я виноват, – сказал он вдруг совсем другим голосом. – Теперь поздно. Время было... сам догадываешься какое...

Ким посмотрел на отца, все еще не осознавая, что тот говорит о его матери. Никто не звал ее Соней.

Отец опустил голову, шумно затаился, выпустил дым. Когда он поднял голову, глаза его вопрошающе блеснули. Ким отвернулся.

Щуйский-старший пожал плечами, повернулся и пошел к открытой двери.

– Не надо нас ненавидеть, – сказал он спиной. Мягко и крепко хлопнула дверь.

Шел дождь. По Котельнической набережной грохотали грузовики. Вдалеке горел, медленно приближаясь, зеленый огонь такси. Ким поднял руку. Все, что он знал про отца из книги Глухова, из разговоров с хорошо осведомленными друзьями, выглядело, как плохая, чудовищно плохая литература, как безобразный китч. Но и все, что происходило вокруг, было плохой литературой, чудовищным неправдоподобным китчем. И отец был одним из ее главных невидимых авторов.

Уже в такси, на продавленном заднем сидении, в волнах танго, плещущих сквозь пробойну хриплого приемника, глядя на мокрый город сухими глазами, он спросил вслух:

– Нас ненавидеть! Почему “нас”?!

– Это вы мне? – повернул разбойничью ряху шофер.

Комната была прибрана и имела праздничный вид. Он ничего с собой не брал. Негативы давным-давно были в Германии, ящик разрешенных к вы-

возу книг он послал малой скоростью на парижский адрес Бориса. Проводы он не устраивал, зная по опыту прошлых лет, что они больше похожи на поминки. Гаррик-очкарик жил в Бостоне. Стась – в Лондоне. Сальниковы осели где-то в Израиле, в кибуце. Любвеобильные девочки с филфака и их менее образованные сестры из Центра – все свалили в свои Амстердамы и Барселоны. И даже неподъемнейший и ленивейший Женька Гольц, в жизни не бывавший дальше районного вендиспансера, жил теперь в невообразимом умопомрачительном Рио!

Он просидел всю ночь в кресле у окна, положив ноги на батарею, слушая сырой шелест листьев старого тополя, дыша остывшими запахами городского лета, поглядывая на окна дома напротив. За одинаковыми занавесками было темно, но в окне старика, умершего в конце февраля, горел слабый свет и что-то мелькало.

– Старый хрыч, – думал Ким, – эмигрировавший дальше всех, судя по всему, время от времени навещает свою конуру, пользуясь слабой бдительностью своих крылатых охрангелов.

Под утро он соскользнул в короткий прозрачный сон и там, под глухой стук колес, он свисал с подножки пригородной электрички, спиной чувствуя тупые взгляды взрослых, боясь повернуться, страшась увидеть среди них улыбающегося твидового старика... Он угадывал смазанное рябое мелькание сосен, невысоких дач, аккуратно прорезанных просек, вспышки солнца, до-ре-ми заборов и,

разжимая руки, он опять и опять летел навстречу крупнозернистому асфальтовому небу, которое с механическим безразличием, переворачиваясь опять и опять, пыталось его прихлопнуть, сплющить, раздавить...

В тридцать два года Ким Щуйский на полном ходу соскочил с флагмана современности. Союз Советских, пуская угольный дым из карминных со звездами труб, утробно рыдая на нижних регистрах, поплыл дальше прямым курсом в светлое ослепительное и неизбежное будущее.

Переход из жизни в жизнь через узкий перешеек двух несообщающихся сосудов, появление в новом, как бы до рождения знакомом мире, и вправду похоже на выздоровление от долгой, длиною в годы, болезни. Единственное, чего сияющий счастливчик еще не знает, это то, что до конца дней своих он будет подвержен рецидивам различной силы...

Ким приходил в себя в Париже, куда из Вены его привез Люц, в уютной двухкомнатной квартирке Бориса на последнем этаже сухонького от старости дома, стоящего косо, но твердо на узкой улочке у подножья церкви Святого Евстафия. Сам Борис, третий год питавшийся французскими вокабулами и камамбером, был на юге, в Лаванду, у Ивон, бывшей женошки – гонял в теннис и дописывал книгу.

Люц Шафус помог Киму с документами, открыл ему счет в “Лионском Кредите” и перевел на его имя изрядную сумму денег. Он сводил Кима в “Près Catalan”, в “Paris-Match” и в “Сумасшедшую Лошадь”. В три утра, после “Лошади”, они распрощались. Дипломатично, но настойчиво Люц пытался втолковать Киму то, что тот уже знал: до сих пор Ким был “фотографом оттуда”, из России, человеком с фронта, открывателем невидимого. Теперь же он стал таким же, как и все. Просто фотографом среди тысяч и тысяч других репортеров со скользящими спинами, портретистов, рекламщиков, хроникеров, открыточников.

– Теперь, – сказал Люц, держась за дверцу своего “вольво”, тебе нужно доказать, что ты и здесь фотограф, что и здесь у тебя есть своя тема. Вне Совдепии. Свой почерк, свой стиль у тебя есть. И у тебя, как у всех вас, с Востока, есть огромное преимущество: ваша цветная пленка дерьмо, поэтому вы все мастера в черно-белой. Вы все работаете на черно-белой, как на цветной. Мой тебе совет – не переходи на цвет.

Люц, “твой Люцифер”, как звал его Борис, был прав. Прошлое было черно-белым, вернее серым, как асфальт или наждак. Париж же после России – невыносимо цветным. Но, приглядываясь к фасадам домов в Маре, к набережным и мостам, к крышам, к таким крошечным после Москвы садам и скверам, к бульварам и внутренним дворикам, пытаясь понять, что еще не сделано, что еще можно сделать старой “лейкой” из этого города, Ким бли-

же к зиме понял, что на самом деле Париж купается лишь в двух цветах, вернее в двух тонах – серо-голубом и розово-лиловом. И все, что можно было сделать, уже было сделано.

Город был растащен, демонтирован, разрезан на миллионы снимков, панорам, средних планов, деталей. Каждая подробность, каждый карниз, каждая дверная ручка и водосточная решетка были сняты по крайней мере три раза. Один – профессионалом и дважды – любителем. В Бобуре он как-то нарвался на большой цветной альбом – “Лютеция. Вид с птичьего полета”. Снимки были явно сделаны фотографом Министерства обороны: квартал за кварталом, улица за улицей, каминные трубы, черепица, балконы, террасы... Почти римская охра, грязно-серый, как у городских голубей, блеск, буйная зелень тайных, с улицы не видных внутренних садов. Катакомбы тоже были отсняты: коридоры, ниши, ступени, плесень, граффити, мелькание теней...

Даже воздух этого города, застойный, пузырячатый, детскими карандашами измалеванный, и тот, как муха к липучке, прилип к эктахрому. Его можно было потрогать на глянцевой бумаге Сиба. Он оставался на пальцах, как цветочная пыльца.

Парижское метро – рай для любителей спрыгивания на ходу. В первый же раз, спеша в журнал на свидание с двойником Джека Николсона – Жаном-Пьером де Казанов, стоя в дверях вагона, ус-

лышав шипение освобожденного пневматического блока, Ким, легко разжав двери, не соскочил, а вывалился на платформу “Жоржа Пятого” с лихостью окраинного хулигана. Две немки со сросшимися головами, изучавшие карманную карту подземки, шарахнулись в сторону, пожилая дама в малиновом пыльнике и с такого же цвета шавкой на руках одобрительно выпучила малиновые губы...

В Париже было четыре вида поездов: ультрасовременные, цвета национального флага, проскакивающие город насквозь и галопом уносящиеся в пригороды; чернильно-синие MF77, линии Шатийон-Сен-Дени, с неуклюжими и малопогодливymi дверями; желто-охристые, без особых примет, водившиеся *sur tout*¹ в туннелях восточно-западного направления и, наконец, замечательные марки “Sprague” послевоенной эпохи, трясущиеся и разболтанные, с дверьми, готовыми расползтись в стороны от малейшего сквозняка, чиха, прикосновения... Увы, это был редкий, хрупкий подвид. Исчезающий...

Подмосковные электрички мало похожи на парижское метро. Новейшая техника катапультирования, окончательно разработанная Кимом той первой парижской осенью, включала в себя прежде всего удержание места на выходе. Ким втискивался в вагон в час пик последним. Если же за ним сломя голову влетал опаздывающий пассажир и

¹ Особенно (фр.).

заслонял собою двери, поездка была испорчена. При первой же возможности Ким перебирался в другой вагон, ища свободную дверь. Наука прыгивания теперь, кроме чисто спортивных, включала в себя и технические элементы. Высшим классом было спрыгнуть на максимальной скорости возле выходных дверей или же эскалатора. Пневматические запоры поездов Sprague были почти всегда разблокированы, и Ким вылетал пулей, исчезая в переходе прежде, чем машинист начинал тормозить.

Двери поездов первой линии, как и трехцветных RER,¹ нужно было слушать ухом врача. Все зависело от настроения машиниста. Если он переваривал очередной нагоняй начальства или ссору с женой вместе с кроликом в горчичном соусе, дело было глухо. Но если он не клевал носом, был раздражен, если в нем играл нерв, если он спешил домой в родной Монтрой, к своей начинающей толстеть Бернадетте, он освобождал двери, едва завидев козырек платформы и вывернутые в его сторону головы поджидающих. И тогда сквозь фетровый стук колес был слышен нежный свист выпускаемого воздуха, и Ким, обе ладони на дверных ручках, был как граната с выдернутой чекой... Двери разлетались в стороны с легким стуком, пассажиры отлипали от журналов, и Ким, оттолкнувшись, летел на платформу. Шарахались в сторону,

¹ RER – скоростные линии парижского метро, становящиеся за чертой города электричками.

одинаковыми жестами придерживая фотоаппараты на груди, туристы, восхищенно разевали рты школяры, мрачнели темнолицые усатые мачо и улыбались несовершеннолетние дивы.

Высшим пилотажем было соскакивание в часы пик, когда сплошная, как в Токио, спрессованная людская стена, шевелясь, стояла на платформе. Держась за поручень, свисая наружу из открытых дверей, Ким выбирал далекий просвет между мелькающими фигурами и, вклинившись на лету, меняя положение ног, гася скорость, сластомируя так, чтобы не задеть и края одежды, увязал во втором, в третьем ряду.

Однажды на станции с непроизносимым названием Денфер-Рошро он чуть было не переломал себе кости, когда бдительный машинист, очнувшись от оп-артного гипноза навстречу летящих линий, увидев на экране бокового монитора странное мелькание в дверях третьего вагона, врезал по кнопке пневмоблока. Ким, уже наполовину выскользнувший из вагона, уже в воздухе, уже в полете, был схвачен лязгнувшими створками дверей. Извернувшись, падая, он вслепую ухватился за внешний шершавый от грязи поручень вагона и так вывернул себе запястье, что через несколько дней был вынужден согласиться с авторитетным мнением кудрявой докторши Ватье, наполнявшей шприц раствором гидрокортизона, что недели на две-три лучше забыть про утяжеленную мотором “лейку” – он не мог удержать и вилки в руке.

– Единственно эффективное средство в вашем случае, – сообщила врачиха, после чего игла, пустив слезу, впилась в сердцевину боли.

В другой раз, в вечернем костюме, в черной кашемировой накидке, одолженной у Бориса, в его же шляпе и при перчатках, он лихо соскочил на платформу станции Опера за пять минут до начала “Лючии”¹. Он совершенно забыл о своих новеньких, узких, от “Арниса”, туфлях и молча проехал на спине метров пять-семь, в накидке, накрывшей его с головой, с билетом в партер, зажатым в черной перчатке, под плохо синхронизированные аплодисменты совершенно случайной публики.

Соперников у него в Париже было немного. Он довольно быстро заметил скуластого бледного парня, соскакивавшего то на Реамюре, то на Бульмише – длинноногого, сонного, но технически безупречного, да как-то на Трокадеро, сидя на боковом откидном сидении, взмок от бесшумно взорвавшейся зависти, когда американский розовощекий подросток выпрыгнул из поезда на всем ходу – на роликовых коньках! Сукин сын, он побалетному крутанулся волчком, а потом покатил, небрежно друг за дружку заводя жеребьячи свои в нашлепках наколенников ноги, поплыл к лестнице, ведущей к фонтанам, к эспланаде, к жизни на другой скорости и совершенно в других измерениях...

¹ “Лючия де Ламмермур” – опера Гаэтано Доницетти.

Приятель Бориса, мозгоправ и штатный жрец культа Зигмунда Ф. сказал Киму как-то, что вся его одержимость соскакиванием, катапультированием есть застарелое, но все еще налитанное мощной энергией желание выскочить из толпы, из массы, из зажима коллектива, дурной, не своей, семьи – смыться на полном ходу, абортиться, выброситься за борт этой жизни, избавиться от этих равнодушных, но спину до сих пор сверлящих взглядов.

– Береги колени и лодыжки, – сказал жрец. – В толпе ты одиночка, тебя всегда будет вышвыривать, выталкивать наружу. Ты, в отличие от остальных счастливых, неразрешимый. Тебя видно за километр. Прошлое всегда будет стучать над тобой колесами.

Толпа! Ким усмехался. Он знал ее прозорливость, ее ненасытность. Он знал, с какой неохотой она распадается. С каким сожалением тебя отпускает. Он помнил, с какой радостью она заглатывает зазевавшихся и как сжимается, ходит волнами вокруг не своих, инородных, и вправду неразрешимых тел...

Но кто же верит в наше время мозгоправам?

Борис писал где-то, что бывшие московские мальчишки, повсюду и везде опоздавшие по крайней мере на полжизни, двигаются в европейской толпе, пользуясь баскетбольными приемами, финтами: ложный шаг навстречу спешащему прохожему, отшатывающемуся в сторону, полушаг вбок и шаг в образовавшийся проем. Ход троянским конем.

“Когда видишь пробку в подземном переходе или же на узкой улочке, – писал Борис, – будь уверен: тромбоз вызван самодовольной и тупо счастливой семьей, взявшейся за руки, – папамасынодочьсобака. Их микросистема замкнута на себя, слепа и потенциально агрессивна. Они требуют территории для своего счастья, они хотят признания и привилегий. Точно так же тормозят продвижение других пьяные временным бессмертием влюбленные. Еще одна разновидность преграды – старики и больные. Их обходят, как деревья, выросшие не там, где надо. Французы же вообще не умеют ходить. Они плетутся от одного плетеного кресла кофейной террасы до другого, от одной интрижки – к другой, от одной революции – к следующей. Даже на демонстрациях они волочат ноги, даже в дискотеках! Но не вздумайте им сказать об этом! Это тот самый случай, когда в них просыпается опасная резвость... Впрочем – ненадолго...”

То, что в Нью-Йорке, как и в Москве, двери открывал машинист, в первые месяцы казалось Киму намеком на скрытые параллели. Нью-Йорк вообще был чудовищно похож на Москву. Объяснить было трудно. Гранит фасадов? Ширина улиц? Или то, что в телефонной книге можно было найти любую фамилию из прошлого?

Оказавшись, после почти четырех лет парижской жизни, в гнилой сердцевине Большого

Яблока,¹ сабвей он возненавидел. Правда, время от времени, раза два в месяц, не чаще, попадался ему искалеченный полумертвый вагон с заклинившейся и парализованной половинкой двери, через которую в вагон хлестал ключьями невидимого пара комиксный ужас. С сердцем, колотящимся как в детстве, Ким стоял, высунувшись, поджидая свою станцию, и лихо соскакивал на платформу под улюлюканье и свист черных парней.

Именно такой вагон и достался ему утром. Ким был на Вест-Сайд, на Сорок Седьмой бриллиантовой улице в магазине хасидов, где за тридцать баксов купил две вспышки “морис” по двадцать ватт каждая. Профессионалы называли эти вспышки “рабынями” – сами по себе они были мертвы, но включенные в сеть, синхронно отзывались на центральную вспышку сполохами холодного голубого света.

(Сексуальный маньяк Завад, задвинутый на совпадении оргазмов, мечтал завести бабенку–“морис”...)

На углу Сорок Третьей и Девятой авеню толстяк с пепельным лицом и в серебристом пыльнике снабдил его тремя “джойнтами”, и он выкурил один, стоя в закутке между помойными баками и сеткой игровой площадки, наблюдая, как рослые

¹ “Большое Яблоко” – Нью-Йорк.

парни – трое черных и один белый – гоняют в баскет. Его повело сразу, трава со слов пепельного, была ямайская, да и сам он был на старых дрожжах – вернулись они с Дзэ часа в четыре утра, были у Ковача на крыше, где шампанское лилось рекой и народ курил и занюхивал вволю. Ковач продал сморщенному старикану из Пальмс-спринг шестиметровое панно, почти пустое! – белое на белом – за какую-то звездную, как Млечный путь, сумму и был щедр, как паша.

В подземном переходе грохотали отбойные молотки и сплошной завесой висела серая пыль. Черный пацан с доской скейта под мышкой чихал, встряхивая головой и разевая в улыбке после каждого чиха большой розовый рот, словно извиняясь. Вагон был мятый, битый, как консервная банка. Настоящая жара еще не началась, но стены и потолок уже были покрыты пленкой влаги – испарениями прошлого дня.

Заклинившаяся половинка двери была перекошена, и пацан со скейтом, держась за поручень, осторожно высовывался во тьму, пытаясь разглядеть фосфоресцирующих волосатых монстров и трупы ограбленных за ночь стариков. Встречные поезда проносились с диким грохотом и на параллельных путях, поднимаясь и опускаясь, мелькали огни скорых линии “Б”.

Перед Четырнадцатой улицей Ким встал, перекинул сумку подальше на спину и, подмигнув черному пацану, выставил плечо наружу. Пахло спертым воздухом, в котором каждая молекула кис-

лорода была упакована в пленку грязи. Платформа надвигалась из дыры туннеля, расширялась, брызжа мутным светом. Ким проверил, не цепляет ли сумка за дверь, по старой привычке несколько раз приподнялся на носках, разогревая лодыжки, и легко выскочил наружу.

Он настолько отвык от резких движений, он так давно не двигался вообще, что его круто швырнуло вбок к кафелю колонны. Бородатый бегемот в расползающемся джинсовом комбинезоне сопел, пожирая сандвич. Ким, как ему показалось, изящно вернулся в вертикальное положение, глубоко вздохнул и, прихрамывая, зашагал к выходу. По дороге он напевал речитативом: – Водка-травка и передовая химия.., твою мать.., son-of-a-bitch, травка-водка и снежок.., fucking bastard ¹, козел, снежок с горных склонов шестьдесят первого этажа, музыка Кола Портера, слова Кима Shshuysky..

Никто на платформе, кроме супружеской пары, судя по всему, с того света, Старого Света, глядевшей с ужасом на его немытые лохмы, засаленные десантные брюки и бутсы, никто не шевельнул и ресницей, не дернул зрачком. Нью-йоркская толпа – самая натренированная в мире. Человек-паук упадет тебе под ноги с крыши Крайслер-билдинга, а ты перешагнешь и пойдешь дальше. Безрукий пуэрториканец выпалит у тебя под носом из кольца с помощью шнурка, зажатого в зубах и грязного пальца ноги, а ты все равно пой-

¹ Сукин сын, проклятый ублюдок (англ.).

дешь дальше, на этот раз перешагнув через труп толстухи, в которую с разгона и впилась пуля-дура... Молоденькая красотка с хозяйственной сумкой в руке выйдет из-за угла в чем мать ее родила двадцать один год назад, и если ты вздрогнешь, если ты обернешься, значит ты, тап, не из этого города, значит ты, ковбой, не из нашего штата, моряк не с этого корабля, you're not a new-yorker! ¹

– Are you? – спросил он вслух. Последнее время Ким часто говорил сам с собою, как и огромное количество жителей этого города – люди манхэттенской толпы, люди в скверах и на перекрестках почти всегда шевелили ртами.

Переживали одиночество.

На улице – диафрагма 16, выдержка 500 – солнце уже било во всю, как перед нокаутом – прямыми в голову. Ноги еще немного дрожали. В голове время от времени звонили кухонные колокольчики. Он решил не переть на Бродвей к Ллойд, обещавшему три сотни на месяц, и повернул на запад, домой. По дороге он заскочил в винную лавочку и купил пива. Дзэз наверняка еще была в постели.

Перед самым домом диафрагму пришлось закрыть до 22 – солнце плавало камень. Дормэн в холле ковырял отверткой в разобранных внутренностях вентилятора и лишь махнул свободной ру-

¹ Здесь: парень; там же – Ты не нью-йоркец; там же (ниже) – А ты?

кой, приветствуя Кима. В лифте пахло химической весною. Он открыл дверь поворотом ключа и легким ударом колена. Дэз сидела в подушках, держа на голых составленных коленях поднос с кофе. В двадцать три года, в почти что двадцать три она все еще выглядела семнадцатилетней лицеисткой с улицы Богоматери Полей. “Щелкунчик” – звал ее Борис. Большеротая, длиннолягая, с вечно растрепанными русыми лохмами, с кругами под глазами, с золотисто-медовым лонг-айлэндским загаром, от которого ее мальчишеские плечи наконец становились круглыми...

Он поставил пиво в холодильник, зарядил тостер мягким резиновым хлебом и, на ходу освобождаясь от рубашки, подошел к Дэз. Мокрый кофейный поцелуй. Он выложил на столик два “джойнта” в фольге, скача на одной ноге, избавился от брюк. Дэз, расплескивая кофе, подвинулась, освобождая место, выстрелил тостер, запахло горелым, Дэз, его Дэз, его девочка, *hela*¹, монстр, мама-Дэз, *salore*², его единственная, его судьба, *déesse*³, жизнь, перегнувшись, поставила поднос на пол, и он скользнул, нырнул в ее объятия, которые он оставил три часа назад, исчезая, растворяясь, дыша ею, чувствуя ее еще ленивые, еще не проснувшиеся губы на шее, на плече, а ее руки – на затылке, на спине, меж ног, дыша ее запахом – детским, теплым, парным, зарываясь в нее все глубже, все го-

¹ Нежность (*санскрит*).

² Здесь: шлюха (*фр.*).

³ Богиня (*фр.*).

рячее, все счастливее, а через четыре часа, когда солнце, оставив кровать, ковер с подносом, ворох одежды, чайный столик, на котором стояла ее голубой замши туфля, перебралось ближе к кухне и высветило длинный бар, заставленный грязной посудой и кассетник, разинувший рот, через четыре таких быстрых, летучих, через четыре привычно счастливых тягучих последних часа она была мертва.

Дэз была мертва.

В старинном зеркале, купленном зимою на “блохе”, отражалось августовское небо: огромное, распахнутое, с клубящимися облаками – похожее на неприбранную постель.

В четверть одиннадцатого звонко ударил церковный колокол. По пустой улице Дня с отчаянным воем промчался полицейский фургон.

Высокий голый человек, худой и жилистый, коротко стриженный, с аккуратными офицерскими усами и густо заросшей грудью, стоял в зеркале, рассматривая скошенным глазом порез на шее. Солнечный луч горячо горел на голубом лезвии опасной бритвы. Отражалась в зеленоватой воде зеркала и законная кровавая герань, и смуглая гроздь его секса, и часть стола со стоящей среди разбросанных бумаг, магнитофонных кассет, журнальных вырезок и снимков чашкой кофе.

Борис медленным движением вытер бритву, в зеркале появилось и пропало полосатое полотен-

це, скорчил зверскую гримасу, обнажив крупные зубы, и вышел из зеркала.

Стерео изрыгало Сибелиуса. Борис уже в белоснежной, с короткими рукавами рубашке-оксфорд и в черных до колен носках, стоя у окна,пил остывший кофе. Город опять был подернут легким маревом надвигающейся жары и дрожал, как мираж. Бориса время от времени, словно начинался грипп, знобило. Тогда он звонил в Нью-Йорк, но телефон не отвечал. Манхэттенская ночь набрала полный рот гудзоновской воды. *La Dame qui Riche* ждала его в любое время. Татьяна даже не спросила, зачем нужны были деньги.

Ким их и познакомил. Татьяна приходилась ему дальней родственницей со стороны матери. После того, как Ким перебрался в Нью-Йорк, старуха занялась Борисом вплотную. Приглашала его на бесчисленные коктейли. Подыскивала ему невесту. Знакомила с нужными людьми. Подсовывала книги, о существовании которых он и не догадывался, и которые, раз прочитанные, на пол, на четверть градуса куда-то поворачивали жизнь...

Однажды она вызвала его поздно вечером. В полутемном салоне она сидела на кожаном пуфе перед горой вываленных на пол вещей. Там были шелковые рубашки с вензелями, галстуки, годившиеся для музейной коллекции, куртки тончайшей замши, полувоенные *tenues*¹, один взгляд на которые вызывал в воображении змей, зной, хинин и лианы...

¹ Одежда (фр.).

– Граф Увалов, – сказала Татьяна, глубоко затягиваясь через длинный костяной в серебре мундштук, – как говорит ваше поколение, “сыграл в ящик”. Бедный Костя! Ему не было и семидесяти... Розовые “бэнтли” и прочее движимое и недвижимое разобрали резвые детки. Граф был настоящим денди, мой друг, и я думаю, кое-что из этих fringues¹ вам пригодится... Вы одного роста, а Костя был худ, как китайская балерина... Вот разве что в плечах...

Она всучила ему чудный смокинг от Sulka, с полдюжины рубах с вензелями, два костюма, кашемировый блейзер, английский пыльник, и он с удовольствием взял широкополую итальянскую шляпу цвета октябрьской дубовой листвы.

Отказать Татьяне было невозможно. Она закинула в мягкий кожаный баул ворох спутанных галстуков, швыряла какие-то подтяжки, карманные платки, выложила на ладонь и сунула ему под нос две пары запонок, и все это в каком-то бешеном темпе, словно любая пауза могла оказаться роковой, словно Борис мог бы вставить в нее свое:

– Мне в общем-то ничего не нужно...

– Костик покончил с собой, – сообщила она напоследок. – Надеюсь, вы не суеверны? Он так боялся смерти, что предпочел отправиться ей навстречу. С Гарриком они были дружны в Кембридже... Он приходил ко мне прощаться. Был тих и сосредоточен, словно уезжал с дипломатическим поручением куда-нибудь в Риад...

¹ Шмотки (*фр.*).

Борис так и заявился домой – потный, с огромным баулом, в шляпе набекрень, словно и сам только что вернулся из Австралии, Новой Зеландии, с острова Борнео... Его шатало, как от jetlag¹ после перелета. На следующий день он привел домой усатого клошара-поляка, побиравшегося возле метро и спавшего на ступеньках Святого Евстафия. Поляк утащил баул графа Увалова с такой скоростью, что Борис не успел даже вытащить из пачки попрошенную сигарету.

Тем летом поляк стоял возле дверей супермаркета на улице Берже в засаленном смокинге и босиком. Почерневшая шелковая рубаша была расстегнута на груди. Никто больше не звал его Поляком. У него было новое имя – Гинзбар...²

Шляпа же осталась и напялена была на щербатую голову каменного херувима, чей припухший животик, побитые коленки и цыплячьи крылья, измазанные кладбищенской зеленкой, украшали простенок между окнами спальни. Херувим стоял на обломке неизвестного происхождения колонны и небесную свою близорукость прятал за стеклами темных надтреснутых очков.

Татьяна жила в четырнадцатом, в аппендиксе, глухо заросшем тамариском и жимолостью. Ее двухэтажный, приобретенный отцом в двадцатых годах особняк, огороженный трехметровой камен-

¹ Состояние нарушения внутреннего ритма, “внутренних часов”, вызванное перелетом из одной временной зоны в другую (*англ.*).

² Кличка дана по фамилии известного певца Сержа Гинзбурга; “бар” заменил “бург”, так как С.Г. изрядно пил.

ной стеною, поверх которой лезло нечто вечно-зеленое и навеки колючее, был похож на перстень, закатившийся в пыльный угол, – облезлые многоэтажные коробки нависали над ним.

Сотни окон жадно глазели на буйно цветущий сад, на ярко-красные маркизы и такой же кровавый пляжный зонт, скрывавший на три-четверти зеленый стол с ртутной лужей серебряного подноса, на котором в хороший бинокль можно было рассмотреть хрустальную рюмку, горевшую рубином, и воробья, склевывавшего икру с недоеденной тартинки. Васька – антрацитно-черный котиче – изумленно топорщил усы из-за грядки остролистных ирисов.

Пчелы ткали воздух, где-то в комнатах негромко, как незакрытый кран, журчал Сати. Между стеной и крышей была натянута невидимая, если бы не застрявший лист да обрывок рекламной афишки, сетка.

Привычную эту сцену Борис увидел мгновенно, через щель в воротах, нажимая пуговицу звонка.

– Открыто! – раздался голос.

Татьяна сидела на ступеньках крыльца. Она всегда одевалась так, словно сам Бакст выбирал для нее эти шелковые шаровары, турецкую шаль и сафьяновые полусапожки. Ее розовая блузка была перемазана икрой. Тяжелые солнечные очки в роговой оправе лежали на открытой книге. Ее загар и летом и зимою был одного цвета – полированно-го дерева. Она улыбалась, показывая белоснежные зубы.

– Слава Богу, все мои, – никогда не забывала добавить она.

В мае справляли ее восьмидесятилетие.

– Рюмку водки? – спросила она.

– С удовольствием.., – начал было Борис. Водка в доме водилась замечательная, разноцветная, настоянная на малине, на смородиновых почках, на травках, на перемычках грецких орехов. Была она всегда ледяная, круглая, как ртуть, разрывная, как пули дум-дум... – Пожалуй, что нет... – в итоге промямлил он, но рюмку взял и, мотнув головой, опрокинул.

Старуха поругивала его в последнее время за *maladie russe*.¹ Сама же пила легко, как птичка, начиная день стопкой лимонной и заканчивая уже в постели в три утра рюмкой домашней старки. По рюмкам, рюмочкам и стопкам, забытым тут и там, в саду, в гостиной, в ванной, на кухне, в деревенской, пахнувшей душистым сеном и сухим нагретым деревом комнатке на антресолях, где она обычно работала, можно было проследить все ее передвижения на протяжении двадцати часов бодрствования. Спала она мало, а в семь часов бесшумная сенегалка, выработавшая за годы службы особый плюшевый стиль передвижения, уже мыла на кухне серебряные чарки, пепельницы и хрустальные рюмки с жирными подтеками губной помады.

Ее увезли из Петербурга девочкой, и только однажды, в эпоху розово-лысого кремлевского

¹ Русская болезнь (фр.).

шута, вернулась она в Россию, да и то лишь на несколько часов. Таксист, промчавший ее по Невскому, долго возивший по набережным и каналам, по Васильевскому и все дальше по мостам на Острова, где возле одной полуживой дачки попросила она остановиться и долго курила, поглядывая на бордовую вывеску с немислимой, из одних согласных, аббревиатурой, получил целую кипу, ворох десятирублевков – они ей были не нужны.

На обратном пути, в последний раз бросая взгляд на нежно-голубые дворцы, на фарфорово-хрупкие соборы, золотой шпиль, горевший над крепостью, она сказала:

– И зачем вам такой город...

И, откинувшись на сидении, закрывая глаза, приказала: – В аэропорт!

В Париже, вечером того же дня, окруженная, словно больная, друзьями, она разводила руками, повторяя:

– Это как аквариум, из которого выпустили воду... Старый растрескавшийся аквариум...

Перед войной она была признана лучшей женщиной-охотницей. Она знала Африку лучше, чем родовое имение мужа в Йоркшире. Он, “ее Гаррик”, плавал под английским флагом, она спала под москитной сеткой – трехствольный зауэр в ногах. Когда муж и жена спят, разделенные тысячами километров, браки зачастую длятся долго. Они развелись уже после войны в Лондоне и сразу же после развода отправились в первый же попавшийся отель, где провели

самые безумные, самые счастливые часы совместной жизни.

Гаррик вскоре погиб, и друзья намекали, что развод был большой глупостью – они вплоть до его последнего рокового плавания, когда рогатая мина, как заказная бандероль от дьявола, нашла-таки адресата и весело ухнула тонной теплой средиземноморской воды, вплоть до этого его окончательного отъезда – они жили вместе.

На эти замечания Татьяна морщилась. Какая разница – быть в разводе или быть вдовой? “Разведенной вдовой”, – говорила она. Что касается денег, они интересовали ее и того меньше: в рулетку она не играла, а другого фатального способа истратить свои миллионы она не представляла. Отец ее еще до революции вложил деньги сначала в нефть и кобальт, а потом в недвижимость. Паспорт у Татьяны был швейцарский, и время от времени, без особого удовольствия выполняя предписания префектуры, она отправлялась подышать горным воздухом. – В эмиграцию, – говорила она.

– Рассказывайте, – приказала Татьяна, медленно шаря биноклем по окнам нависшей над садиком многоэтажки. – Что он там натворил? Убил президента? Подхватил HIV?¹

¹ HIV – аббревиатура вируса СПИДа.

– Он мне ничего толком не объяснил, – Борис проследил за взглядом Татьяны. На балконе седьмого этажа стоял краснолицый бугай в семейных трусах – плешивый, животастый, потягивающий пиво из банки.

– За ночь моя сетка принимает пять-шесть таких банок и, увы, иногда и бутыль из-под какой-нибудь гадости, – оскалилась хозяйка. – Руки просто чешутся... Для хорошего выстрела этот идиот слишком легкая мишень... Как же мы все испорчены гуманизмом!

– Насколько я понял, деньги ему нужны на билет до Парижа. – Борис налил себе еще одну рюмку, на пустой желудок его слегка повело.

– Я вам поджарю тартинку, – поднимаясь легко, как девочка, и протягивая ему бинокль, сказала Татьяна. Бугаю было от силы лет тридцать. Голубые жидкие глазенки, татуировка на левой руке: птичка-орел, несущая в когтях раскоряченную диву. За трепещущей тюлевой занавеской – раскрытая кровать и чьи-то крупные ступни, торчащие из-под одеяла.

Он остался завтракать, и Татьяна, позвонив в угловой китайский ресторан, заказала с полдюжины блюд, и сам хозяин, крепкий улыбчивый вьетнамец, примчался минут через пятнадцать и остался распаковывать свертки, выцедил стопку зубровки, рассказал какой-то никем не понятый анекдот и исчез в дверях, унося в обнимку тусклого пузырьчатого стекла пузатую вазу. Татьяна вечно одаривала знакомых и незнакомых гравюрами

и чайниками, ковриками, книгами, подстаканниками, букетами цветов из собственного сада, портсигарами Гаррика, вареньем, исчезала в погребе и возвращалась с пыльной бутылкой “Шато-Линч” или же крошечной баночкой, в которой, как препаратированный мозг зверька, сидел скользко-черный трюфель. Уйти от нее с пустыми руками было невозможно.

Кофе пили на втором этаже в пропахшей старой кожей и законной жимолостью библиотеке.

– Как ваши собственные дела, голубчик? – спросила Татьяна, закрывая ставни и задерживая звякнувшую кольцами тяжелую портьеру. Волна зноя с бесшумной яростью разбилась, ударившись в закрытые створки, золотые подтеки брызнули в щели. Лениво пропилила по воздуху пчела и рухнула в тарелку с черешней.

– Ваша мотоциклистка, ваше лекарство от Сандры все еще действует? No side effects? ¹ Она все еще вам кажется сфинксом, или же время Великих Иллюзий прошло? Vous avez des nouvelles de Sandra? ²

– Коллоквиум по дойным коровам, Лозанна... Иллюзий, наверное, особых и не было... Типичный советский, совковый, как они теперь выражаются, мазохизм. Чем хуже, тем лучше. Если же, не дай Бог, жизнь вдруг становится приятной, веселой, легкой – тут же включается пожарная сирена...

¹ Без побочных явлений? (англ.).

² Какие новости от Сандры? (фр.).

Честное слово, уверяю вас, я иногда просыпаюсь и чувствую: что-то не в порядке! Откуда это чувство опасности? Угрозы? А потом догадываюсь: это потому, что я себя чувствую удивительно хорошо...

– Не пора ли вам, голубчик, жениться?

– На Жюли? Моторизированные блондинки для бессрочного совместного тюремного заточения не годятся. С ними особых высот не достигнуть. То, от чего ты так старательно стараешься избавиться, твое прошлое, для них магнит. Именно это их к тебе и привлекает. Непонятное в тебе. Для них это экзотика. Хлебом их не корми, дай возможность что-нибудь сильно не понимать... В то время, как ты самым идиотским образом мечтаешь быть как все остальные... С Сандрой я, честно говоря, всегда был не в своей тарелке. Или – *allegro passionato* или же – дырка от бублика. Вообще, как только я чувствую себя уверенно, *vraiment bien*¹, что, как вы знаете, бывает редко, – Татьяна улыбнулась, – наступает паника.

– Не вы первый. Я в вашем поколении давно это заметила: вам легче жить вверх ногами. Что-то похожее было после войны в Англии. Бывшие фронтовики превращались в невротиков только потому, что опасность и страх исчезли. Внешнее давление исчезло. Наступила кессонная болезнь. Поэтому многие и начали жить, как говорится, *at the bottle's bottom*...²

¹ По-настоящему хорошо (*фр.*).

² На дне бутылки (*англ.*).

Татьяна выскользнула в соседнюю комнату. Кот, дремавший в кресле, прямо из сна выскочил за ней. Борис допил кофе, откинулся на подушки дивана. Хотелось заснуть и проснуться в далекой приморской деревне, в маленькой бухте, где зеленая вода, отвесные скалы и выжженная степь... Цикады и полынь. Тарантулы и огромное небо, полощущее горло далеким громом... Ностальгия – это оптическая ошибка; не география нас притягивает, не цветущие каперсы, не шалфей и асфаделеи в горах, а наша юность, гулявшая там, засунув руки в карманы...

Вошел, подняв хвост, кот, за ним – Татьяна.

– Семь тысяч?

Сквозь рев далекого прибоя ее голос пробился с трудом. Там были такие веселые солнечные штормы, горы вздыбленной желто-зеленой воды, сквозь которую мутно, но настойчиво светило солнце... Борис встал, чувствуя на лице соленые брызги, и взял протянутые деньги.

– Если вам, молодые люди, нечем будет развлекаться... Когда он прилетает?..

– По идее – завтра к вечеру...

– Знаете что... Позвоните мне. И приходите ужинать в субботу.

Он поцеловал мягкие, от крема влажные щеки и, сбежав по лестнице, мелькнув в огромном, во всю стену, зеркале холла, пересек, вспугнув стайку воробьев, сад и вышел на улицу. Было пятнадцать минут третьего. “Американ Экспресс” закрывался в шесть.

– В шесть или в пять?

На выходе из метро Ваван худая босоногая цыганка кормила грудью комок цветных тряпок. Цвета асфальта была ее протянутая рука. Борис пошарил в кармане брюк и прошел мимо. В дверях Селекта его обогнала пчела. Гарсон в прилипшей к узкой спине рубашке, сидя на корточках, сметал щеткой в совок осколки. У стойки было полутемно, жужжали вентиляторы, пахло подгоревшим хлебом.

– Э! – раздалось сзади, – а я тебя повсюду ищу!

Борис нехотя повернулся – так и есть! – сукин сын Зорин! Корреспондент Серпа и Молота во Французской столице! Когда-то сосед по лестничной. Комсомольский вожак! В те времена спортсмен-красавец, специалист по целкам и прыжкам в высоту. Кристально чистый стукач со стажем. Верный товарищ – отвернешься, обязательно плюнет в чашку!

– Слушай! У меня к тебе срочное дело! Мы можем где-нибудь переговорить?.. Вчера я здесь целый день ошивался. Мне сказали, что ты либо в Селекте, либо в Клозри. *C'est con que sois sur liste rouge!*¹

– *C'est mieux que d'être sur la liste noire...*²

Борис отхлебнул из поставленного перед ним стакана с пивом. Послать его прямым текстом? Товарищ Зорин, пойдите на х...!

¹ Хреново, что ты в красном списке (Красный список во Франции – это платный список тех, кого не заносят в телефонную книгу, их нельзя найти и в справочной) (фр.).

² Это лучше, чем быть в черном списке! (фр.).

– *Donnez-moi la même chose!*¹ – бросил бывший земляк гарсону.

– Борис, слушай! Из первых рук. Новости – слово – десять тысяч баксов! Что ты на меня так смотришь? Клянусь тебе! Не веришь? Scoop!²

– Мне надо в редакцию, – нахмурился Борис. – Я и так уже на час опоздал. Он быстро допил остатки пива и, с трудом сдерживая раздражение, повернулся уходить.

– Кончай, мужик! Я серьезно говорю. Услуга за услугу. Мне не бабки нужны...

– *Votre monnaie*³, – раздалось сзади.

– А что ж тебе нужно, камрад? – Борис получил сдачу и запихивал деньги в карман.

– Так, один контакт. Я тебе объясню.

“Прилипнет, – с ужасом подумал Борис. – Увяжется следом”.

– Не знаю... Завтра? Приходи завтра... Я где-нибудь здесь буду. Здесь или напротив.

И, не заметив протянутую руку, он, щурясь и ища солнечные очки, выскочил на улицу под бесшумный солнечный ливень.

Цыганка все еще стояла у ограды метро. Он сунул ей пять франков и повернул налево, на Бреа.

В эти августовские, затопленные жидким золотом дни Люксембургский сад, Люко, с его ажур-

¹ Дайте мне то же самое (*фр.*).

² Здесь: Сенсация! (*англ.*).

³ Ваша сдача (*фр.*).

ной крышей плотно сомкнутых крон, был царством почти подводным. Черные стволы вековых каштанов, обросшие мхом, увитые плющом, уходили в дрожащую раскаленную синеву. Темного нефрита листва пропускала редкие, растопыренные и во тьме этой жарко горящие лучи. Но там, где поворот аллеи или клумба поблекших ирисов разрывали цепь деревьев, в образовавшуюся дыру с органическим ревом фотонной ракеты хлестал солнечный поток.

Внутри этого густого мрака, плутая меж колонн пыльного солнца, бродили семидесятилетние девушки, распаренные провинциалы, охотники на нимфеток, безработные шпионы, вполне опереточные полицейские, американские туристы с обязательными теплыми бутылками дорогого вина и вернувшиеся, как мечтал Жан-Жак, в природное состояние безработные с солидным стажем...

Иногда по аллее бесшумно проскакивал отряд обвешанных фотокамерами японцев или пробежала взмокнувшая парочка джоггеров: не по сезону белокожий и щуплый он (козлиная профессорская борода, угрюмый взгляд, фиолетовая от пота майка) и мягкая полнолицая она – огромные, тяжело взлетающие и опускающиеся в такт груди, ярко-зеленое, до неприличия врезающееся в бугристую плоть велосипедное трико, мелкие, потемневшие, к шее прилипшие кудри...

Здесь водились сонные аккуратные старички, день деньской дремавшие под липами, а возле песочницы, полной полуголых карапузов – чудес-

ные, по-французски с трудом изъяснявшиеся девочки-бэйбиситтеры; здесь, за спиной у Сивильской Белянки, молодой самурай с окаменевшим от благородства лицом взлетал выше балюстрады, выше туповатого мраморного льва, бил пяткой пятнистый воздух и, с мягкостью пумы приземлившись, веером расслаивался на добрую сотню полупрозрачных образов...

Под баскетбольным щитом огромные черные ребята растаскивали наскაკивающих друг на друга взмыленных игроков. – Putain! – вопил кто-то, – mother-fucker, kill him!.. Ferme la, espèce de ass-hole, ¹ – раздавалось в ответ. Пестрая толпа, сидевшая под зонтиками кафе, со скукой наблюдала за потасовкой.

Люко для Бориса был его единственным домом, местом, где он знал всех и где все знали его. Когда его спрашивали, какое у него гражданство, он отвечал – Люксембургское... Je suis citoyen du Luxembourg! Du jardin du Luxembourg...²

Ярко-красная тарелка “фрисби”, взлетевшая выше крон каштанов, по мягкой кривой возвращалась в руку загорелого, в драные джинсовые шорты одетого парня.

– Привет, Бернар, – окликнул его Борис. – Я думал, ты в море...

– На пособии. С октября начну. У меня от волн уже рябь в глазах, как на пустом экране телека...

¹ Здесь: Заткнись, засранец! (*франгле*).

² Я гражданин Люксембурга! Люксембургского сада... (*фр.*).

Бернар вытер потную руку о шорты и протянул Борису:

– Мы играем против бошей в воскресенье. Придешь?

Борис снял пиджак, развязал галстук. В густой тени на скамейке спала, подложив рюкзак под голову, молодая девушка. Ее русые волосы текли вниз, ее блузка сползла, оголив плечо и грудь. На земле валялся зеленый мишлиновский гид по Франции. Стефан и Жан-Люк, устроившись на креслах рядом, тихо переговариваясь, курили.

– Хороша? – спросил Стефан. – Шведка, судя по gidу...

– Ничья? – вступил в игру Борис.

– До вечера, не позже. Пусть отоспится, – широко улыбнулся своей застенчивой улыбкой Жан-Люк.

Облако густой рыжей пыли заволокло их: по аллее за их спинами вяло протопала вереница гривастых пони. Вместе с пылью горячий ветер донес острый запах мочи и масла для загара. Запершило в горле.

– Как вы можете здесь сидеть? – прохрипел Борис. – В этом хамсине ¹?

Стефан, откинув голову назад, выпустил дым через ноздри, поправил темные очки. По плечу шведки ползла, складывая крылья, божья коровка.

– Не бросать же девушку одну... – сказал он.

¹ Песчаная буря (араб.).

На четвертом корте кто-то из новеньких играл против Этьена. Крепкий подвижный парень, судя по стилю – американец. На третьем – двое мальцов упорно лупили мимо, вопили и ругались страшными взрослыми словами. На втором – Альфредо давал урок очередной толстушке, на первом – пили воду взмокшие Дэвид и Роджер...

Борис, со всеми поздоровавшись, нашел свободное кресло и перетащил к сетке корта. Ян курил короткую вонючую партагас, Люк и Аллан, сдвинув головы, уткнулись в каталог Брайтлинга, Реми бинтовал колено, какая-то писюшка хихикала на коленях Антуана, Олаф и Фабрис, мокрые, как после душа, блаженно сидели с закрытыми глазами.

– Я подаю вторую подачу... – рассказывал Ян.

– А за это время они растащили полстраны! – раздалось сзади.

– И вижу, что прямо за Жан-Пьером сидит какая-то бабенка, лет тридцати пяти, поставив раздвинутые ноги...

– О чем ты говоришь! Я платил за свою первую студию на Сэн-Жорж девятьсот франков!

– ... на стул и заголив ноги. И под юбкой у нее ровным счетом ничего нет...

Олаф хихикнул:

– Кроме собственного меха!

– Да и то немного, – продолжал Ян.

– А теперь? – продолжал невидимый голос. – За эту клетку без ванной и с картонными стенами... Когда мой сосед чихает, у меня падают книги с полки.

Мне даже слышно, когда он рвет волосы из ноздрей!

– Я, конечно, промазал вторую подачу. Пятнадцать-тридцать. Перехожу подавать налево. Поднимаю ракетку.

– Четыре двести каждый месяц!

– И подать не могу! Кошара ее смотрит на меня, что твое дуло пулемета. А сама она как бы меня не видит.

– Нет, ты помнишь? На шестьдесят франков можно было вдвоем отужинать с вином и кофе.

– О'кей! Возле самой сетки лежит мяч. И я говорю Жан-Пьеру – гони мяч, мол, тот, что у меня – сдох, скончался. Он поворачивается, идет к сетке и ничего, скотина, не замечает.

– Я тебе скажу. Эти зеленые. Борьба с загрязнением. Главное загрязнение – это не выхлопные газы.

– Отсандаливает он мне мяч. И, что твой Агаси, танцует на приеме. Ждет, когда я снова врежу мимо.

– Это не нитраты.

– И за секунду до подачи, в башке его, видно, допроявляется все-таки снимок. Я вижу, как он дергает головой, и, словно какая-то сила его тянет, – оборачивается...

– И не сточные воды...

– И тут же возвращается на исходную – морда перекошена, рот дергается, ракетка стучит о битум – гвозди заколачивает.

– Главное – это загрязнение мозгов. Политика и реклама.

– Я выигрываю игру, и тут он предлагает меняться сторонами.

– Они нас принимают за идиотов! Они думают, что мы бесконечно будем глотать всю эту муть... Запивать ее дешевым розовым...

– Хотя сам отказался играть на солнце. В общем, тот еще матч...

– А что эта шалава? – спросил кто-то.

– Эй, рускофф, как ты там переделал рекламу про пеленки?

– Эта salore? Так и сидела, проветривала свои складки, пока не появился Гийом.

Ян зевнул и выпустил клуб дыма.

– Как ты можешь курить эту мерзость? – спросил Алан.

– Он выпендривается, а не курит! Ты же не затягиваешься? – спросил Олаф.

– Сигарами затягиваются пижоны! – Ян мелко сплюнул.

– Рускофф!

– Оставь, он кимарит...

– И он ее уволок?

– А... Ему любая точилка для карандашей подойдет, – раздался голос Антуана.

– Борис этот клип про пеленки переделал на французенок: *Même mouillées, elles sont sèches!*¹

– Для карандашей? – загасил наконец сигару Ян. – Да там болванки для ракет можно обтачивать!

¹ Даже промокнув, они остаются сухими... (фр.). (Это слова рекламы бумажных пеленок, которые герой переадресует французенкам)

– Ну и мерзкие же вы типы, – весело вставила писюшка. – У вас одно в голове!

– Ты знаешь, кто нам устроил эту блядскую эпидемию?

– Спида?

– Мамзель Веро! – встрял, разлепив один глаз, Фабрис. – Ты уже раза четыре кончила, ерзя на коленях у этого охламона, которому придется ставить новый зиппер на джинсы... Лицемерить в такую жару!

– Я тебе скажу без дураков, на все сто: гондонная промышленность запустила на орбиту этот спид. Представляешь, какие они нынче делают бабки?

Американец явно был сильнее Этьена. Его пушечные подкрученные подачи Этьен сандалил либо в сетку, либо – в аут. Справа он лупил отменно, но и Этьен был способен ответить не хуже. Зато слева у янки был чудовищный удар. Он низко подсаживался под мяч и вместе с ударом разжимался по спирали, поднимался, широко разводя руки, чуть проваливаясь вслед за мячом. И до последней миллисекунды не было видно, будет ли это удар по линии или – неожиданная диагональ.

Борис чувствовал, как тяжелеют веки. Он моргнул несколько раз, зевнул и закрыл глаза. Даже за стеклами темных очков по изнанке векплыли пурпурные пятна.

Дети кричат... Трехколесные ...сипеды тренькают... Дзынь... Дзынь-Жибоа – китайский велоси-

пед... Удары мячей... Глухо... Вельвет, сырой тяжелый бархат... Как занавес в театре... Горячий крупнозернистый курт... Жжет сквозь подошвы “найков”... Оркестр... В беседке, в густой тени. Вальс и знойные порывы ветра. Чья-то газета, вдруг решившая улететь. Это не Штраус. Но что-то знакомое.

На какое-то время он вырубился, словно утонул в горячем сиропе, всплыл. Ян и Алан ушли играть. Фабрис тоже. Антуан висел на губах у подружки. По ее длинной загорелой шее шли пунцовые пятна. Пума! Стефан и Жан-Люк конвоировали улыбающуюся шведку на выход. Борис встряхнул головой, пытаясь отогнать сон. Пойти в раздевалку, залезть под холодный душ? Нечем вытереться. Он снял очки, зажмурился и, почувствовав, как по носу ползет слеза, открыл глаза: слоновьи уши листьев катальпы, пухлые облака, плывущие наискосок по невыносимо синему, как у Дали, небу, Ларри, повисший в смеше над сеткой...

Ларри: триста шестьдесят пять дней в году – на корте. Сумка с пятью ракетками, седой бобрик, торчащие скулы, костлявый каркас, перекрученный жгутами мышц. Ларри, носящийся по корту утром и вечером, в дождь и снег, в горе и в радости, больной и здоровый, в бедности и при деньгах, аминь. Лишь смерть разлучит его со звоном струн кеннекса. Повезут на кладбище прямо с корта. Оркестр пожарников с улицы Севр будет играть марш Бенни Голсена “Европа-1”. На мраморной глыбе короткая эпитафия:

“Ларри Щварц: ОН ИГРАЛ В ТЕННИС”.

И вместо дат рождения и смерти – даты первого матча и последнего смэша... Друзья будут приносить не цветы, а обмякшие с облысевшими боками мячи.

– Так хотел Ларри Щварц...

– Эй! – позвали его сзади.

Борис оглянулся: Пьер и Люк собирали сумки.

– Хочешь с нами в Довиль? Реми купил у собственного папаши “рэнджровер”. Купнемся, заскочим в казино?

– Мне надо в редакцию, – кряхтя выбрался из кресла Борис. – Не всем же прохлаждаться; кто-то должен и капитализм строить...

– Надумаешь, приходи, – хлопал его по спине миляга Пьер, – мы будем часов в семь на Сен-Сюльписе. В “Кафе Мэри”...

Лофт на Перри-стрит достался Киму от Франсуа Вонга из АФП. В первый раз они пересеклись в Пешеваре, встречались в Бейруте на брифингах в посольстве, а однажды Ким нарвался на Франсуа в три утра в полупустом диско в Ларнаке на Кипре, где ушедший на вольные хлеба худой, как палка, вьетнамец охотился за дочкой американского конгрессмена, по уши влюбленной в сурового блондина по фамилии Козлов.

Тридцатилетний Козлов, про которого газеты писали, что он работал то ли на ГРУ, то ли на ГБ, вовсе не был похож на Аполлона, свитого из корабельных канатов. На следующее утро Ким вдоволь

насмотрелся на него через мощный телевик Вонга. Красный 007, развалившийся на полосатом шезлонге возле бассейна, обладал мягким подбрюшником, изрядной плешью, женской почти что грудью и действительно впечатляющими, пронзительно синими глазами...

В Нью-Йорке Вонг после выставки в галерее Роберта Миллера пошел в гору. Какое-то время Ким даже подрабатывал у него портретами еще не взшедших на местные небеса звезд, а когда Франсуа перебрался в уютный дуплекс на углу Лекса и 64-й улицы, принадлежавший молчаливой филиппинской манекенщице, зарабатывавшей по пол- “порша” в день, Ким въехал в освободившийся лофт.

Собственно, это был не лофт, а большой шестидесятых годов нью-йоркский чердак, с верхним светом, крошечной террасой, камином, окнами, выходившими на порт, с противоположной стеной, часть которой была выбелена, а часть, по прихоти архитектора, сохранила кирпичную кладку. Вонг оставил целые заросли, джунгли цветов, китчевая ванна выкатывалась из своего закутка на колесиках, в простенке меж окнами стоял холодильник, а в нише за полированной стойкой бара пряталась плита.

По объявлению в Вилледж Войз Ким купил подержанный “футон” и два кожаных кресла, стол был хозяйский, на шесть человек, книги пришли из Парижа пароходом через месяц, портрет Дэзирэ, писанный Фаджи, и лиловые московские крыши друга детства Саши Рубина примостились над

камином, и все остальное место заняли штативы, рулоны фоновой бумаги, сумки, кофры, лампы, экраны, динамики, факс, стерео и gravity system¹, “гладильная доска”, как называл ее Борис: мельница с зажимами для ног, на которой можно было вращаться или же висеть вниз головой, – единственное, что помогало от профессиональных болячек фотографов: сколиоза, люмбаго, дорсаго – разжимало позвонки, снимало боль, лечило спину.

Лофтом чердак назвала Дээ, когда она впервые появилась в Нью-Йорке. Ей все хотелось называть по-американски: такси – кебом, консьержа – дорменом, сад – парком, а идиота – шмаком². Она с радостью переименовывала свой мир, восхищалась тем, что прачечные принадлежат китайцам, овощные лавки – корейцам, а такси – русским, что полицейские ездят верхом, что над подъездами нависают козырьки-маркизы, а на крышах надстроены водонапорные башни, что город, как губной помадой по бетону, размалеван кармином, что закаты здесь монументальны, как в горах, а воздух так напитан электричеством, что в него можно ввинчивать лампочки.

Она, выросшая в городе, где нет параллельных улиц, где дома похожи на окаменевшую в беге разношерстную толпу, Дээ из Люксембургского сада, Дээирэ с улицы Ваван, еще восемь лет назад игравшая в классики на мостовой Богоматери Полей, –

¹ Букв. тренажер (англ.).

² Дерьмо (идиш).

перечертила свою жизнь в крупную американскую клетку и, забыв про каштаны и рододендроны, влюбилась в голое нью-йоркское дерево с крупными атласными цветами, в городскую магнолию, полыхающую на фоне кирпичной кладки...

Они прожили почти что четыре года вместе: два в Париже и два в Нью-Йорке.

И вот теперь Дэз, плясунья и хохотушка, впадавшая в меланхолию, словно на внутреннее солнце наезжало облако, Дэз, так страстно хотевшая быть лучше всех, Дэз, у которой подгорала даже пустая вода в кастрюле и чьи свитера после стирки садились сразу на три номера и отдавались внучке дормена, Дэз, которая вдруг становилась мерзкой предательницей, злым, испорченным, упрямым бесенком в как никогда чистом обтягивающем платье с аккуратно зачесанными волосами и нарочно грубо, жирно покрашенными губами, Дэз, которая по утрам бывала такой заспанной, потягивающейся, от клочков сновидений замутненной, Дэз с ее перепадами холодной и горячей кожи, с ее птичьими криками во время любви, с ее кошачьими воплями, когда она была недовольна, с ее мальчишескими па, когда она танцевала одна или же имитировала каратистов, Дэз – его Дэз, *sa tendresse, sa douleur*¹, его все, его вся – была спрятана в пластиковый мешок, застегнута на молнию, и ее унесли два дюжих полицейских, один белый, другой черный, чертыхаясь и приседая, хотя она

¹ Его нежность, его боль (*фр.*).

была легче пуха, каких-то сорок девять, всего сорок девять килограммов.

Или смерть – это переход в другую весовую категорию?

Лейтенант минут сорок терзал его идиотскими вопросами. Кто устанавливал вспышки? Случалось ли раньше, что лампы падали? Почему он решил снимать мисс Леру в ванной? Известил ли он родителей мисс?..

Когда Ким сказал, что отец мисс Леру работает в ООН, лейтенант перестал записывать и внимательно посмотрел на него. Ему было от силы двадцать семь. Розовая, из-за прыщей плохо выбритая ряха, мутно-голубые глаза, шея, кадыком выпирающая из ворота рубахи.

Ким расписался на каждом листе, вяло кивнул на предупреждение не покидать город и, закрыв дверь за полицейскими, достал из стенного шкафа бутылку виски и позвонил в Париж. Борис никак не мог врубиться, зевал, но деньги обещал выслать.

Час, быть может, два он просидел в ободранном кожаном кресле с телефоном в одной руке и бутылкой “Белой Лошади” в другой. Несмотря на жару, огромная лужа на полу не подсыхала. Вентилятор не работал, света не было, в холодильнике глухо щелкал, сползая, лед.

Наконец он поставил телефон на пол, встал, перешагнул через набухшее мокрое полотенце, пнул опрокинутый штатив и, хрустя битым стек-

лом, вышел на террасу. То ли от того, что жара не опадала, то ли потому, что вместо воздуха была тугая пустота, ему перехватило горло – железные пальцы сомкнулись на шее, за ушами хрустело, разинув рот, он пытался сглотнуть и не мог.

Он прислонился к стене, чувствуя, как слабеют, подгибаются ставшие вдруг чужими ноги, мотнул головой, но воздух не проходил, опустился на корточки, чувствуя, как пот скапливается меж лопаток и на лбу, бежит по спине, жжет глаза, откинул голову назад и, больно ударившись об стену, вдруг задышал, словно вынырнул с того света, глотая крутые шары воздуха и содрогаясь всем телом.

Время двигалось рывками. Пятнадцать минут. Потом – минута. Потом – неизвестно сколько. Рука с часами висела, как мертвая. Медленно, как сквозь туман, до него дошло, что он воет и раскачивается, сидя на корточках, от сухих рыданий. Как шаман в тайге, подумал в нем кто-то посторонний.

Через какое-то время он умолк и сидел тихо, чувствуя, что внутри что-то заклинило, наверное лопнуло, в мякоть войдя, ребро. Огромная распирающая тупость наполняла тело. Все было все равно. Безразлично. Наконец он обнаружил в правой руке все еще булькающую бутылку и, задрав голову к малиново-черному нью-йоркскому небу, обливаясь, в несколько глотков прикончил виски.

Где-то внизу, на городском дне, вопили сирены, с пирса взлетела, шипя и отплевываясь, лиловая ракета, в темноте невидимое окно пульсирова-

ло Брамсом. Он перебрался в комнату, разделся, набросил ее шелковое с огромными драконами кимоно, затянул пояс, рухнул на кровать. Простыни были скомканы, подушка пахла ее волосами. Он обнял ее, вжался лицом. Оцепенение исчезло. Она должна была быть где-то здесь. Над ним. В комнате. В этом темном воздухе. Он перевернулся на спину. Человек не может исчезнуть просто так. Как вещь. Как диван, который вывезли. От него должны остаться несколько молекул?

Но ее не было. Комната была пуста, был пуст раскаленный воздух. Он знал наверное, что ее нельзя было теперь обнять, нельзя было провести ладонью по узкой спине, почувствовать ее дыхание на лице, слизнуть слезу со щеки, сжать ее груди в ладонях, отозваться на ее вздрог своим... Он сел, все еще с подушкой в руках, подтянул колено к груди, все тело ныло, словно его отколошматила уличная шпана. Комната стояла перед глазами, как засорявший в проекторе, готовый вспыхнуть слайд. Густо-синяя захламленная тьма. Он был один. Откуда-то из угла, как локомотив с экрана, на него двинулось нечто бесформенное, чужое, неумолимое. Ему стало жутко.

– Дээ! – позвал он идиотским, беззвучным, сухим шепотом. – Дээ...

Взвизгнул звонок, и одновременно зажегся свет и завопило радио. Дормен открыл дверь своим ключом и теперь, стоя на пороге, раскачивался на слоновьих своих ногах. Толстый рот его шевелил губами. Звук опаздывал:

– No need to worry, I fixed it... – он смотрел с сочувствием, с сожалением простого человека; глаза его телеграфировали: дерьмо эта жизнь, а?! Fuck it, man... Высшего качества дерьмо...

– Вы были такой чудной парой... На «были», «you were», – он споткнулся...

– Want me to get you a little something? My wife has a bottle of Russian schnapps hidden somewhere...

– Oh, thanks a lot, Greg, – сказал он. – Thanks for everything. I'm OK... ¹

Он проспал до одиннадцати, аккуратно побрился, вышел поесть к итальянцам, навернул две тарелки равиоли с артишоками, выпил бутылку “вальпуличэллы”, заказал кофе.

Он словно забыл про смерть Дэзирэ. Единственное, что было необычным в его состоянии, это общая тупость. Ему можно было врезать по голове сковородкой, он вряд ли заметил бы. Ему можно было всаживать иглы под ногти, он бы мрачно ждал, как ждут, когда закончит подрезать и полировать болтливая маникюрша.

Стефано прикатил тележку с *i dolci* ². Ким ткнул пальцем в миндальный торт. Amaretto! Как всегда под занавес вышла сама грузная и улыбаю-

¹ – Не беспокойтесь, я все починил...

– Хотите я вам притащу выпить? У моей жены где-то припрятана бутылка вашего русского шнапса...

– Спасибо, Грег, – спасибо за все. – Я в порядке... (англ.).

² Пирожные (итал.).

шаяся мама Франческа. Принесла заветную бутылку “граппы”.

– Как там моя дочка? – спросила она. – Dazzy ¹? – добавила она по-английски. – Все прыгает?

– Нет, синьора... – сказал Ким, отирая рот бордовой бумажной салфеткой и подставляя рюмку. – Не прыгает, дорогая синьора!..

Он смотрел за окно: мелькнула чья-то жирная, белым пиджаком обтянутая спина, из остановившегося такси, опираясь на палку, выбирался трясущийся старик.

– ... Летает... Volare...²

На часах было начало четвертого.

Вернувшись домой, совершенно спокойно, словно он собирался заказать билеты в Карнеги, он набрал номер офиса Пьера Леру. Господина Леру не было. Он узнал у секретарши номер факса и крупно фломастером написал на листке номер телефона лейтенанта Хаббарда. Подумал и приписал – СРОЧНО. Еще ниже – sorry... Это sorry ³ он тут же оторвал и скормил послание послушной факс-машине.

“Ты всегда хотел получить ее назад, – думал он зло. – ОК – теперь она твоя. Насовсем”.

С Пьером Леру они так никогда и не стали друзьями. Дэз однажды рассказала ему такое, от чего

¹ Изумительная (англ.).

² Летать (итал.).

³ Извиняюсь (англ.).

Ким несколько месяцев не мог придти в себя и совершенно серьезно обещал продырявить папашу.

– Это было после смерти матери, – уговаривала его Дэзирэ. – Ирэн хотела донести на него в полицию...

– И ты, конечно, ее остановила!.. – бесился Ким.

Он отдал Грэгу ключи и, нацарапав на куске картона номер телефона Бориса, сказал, что вернется через неделю. Через неделю, через месяц, через десять лет, ОК? Время больше не существовало. Быть может, завод в игрушке и не кончился, но заклинило крепко.

Грэг хлопнул его по плечу, осторожно заглянул в глаза:

– No problem! Try to take it easy...¹

Ким посмотрел через стекло подъезда на улицу: рывками, исправно дергался внешний мир, шли прохожие, собака задирала ногу на колесо мотоцикла, мелькали локоть и метла черного парня в комбинезоне.

В аэропорт его отвозил Франсуа Вонг. Он сидел, поджидая его в машине, рассматривал контрольные снимки. Ким, устроившись рядом, вытянул из пачки сигарету. Щелкнул зажигалкой.

– Фильтр горит, – сказал Франсуа.

¹ – Без проблем!

– Попробуйте не принимать близко к сердцу (*англ.*).

Ким чертыхнулся и оторвал тлеющий фильтр.

– Ты что, с собой ничего не берешь? – удивился Франсуа.

И вправду, Ким вышел, как был, – в джинсах и мятой рубашке. Бумажник под ремнем. Паспорт – в нагрудном кармане.

– С самолета тебя не ссадят. Но прикалываться будут. Особенно в Руасси...

Пришлось возвращаться, брать ключи у Грэга... Он швырнул в спортивную сумку легкую куртку, смену белья, бритву, свитер, взял с ночного столика пластиковую коробочку бромазепама, набросил на плечи пиджак. Бутылка виски была пуста. “Куплю в duty free”, – подумал он. Вытащив из-под кровати рюкзак с “хассельбладом”, он запихнул назад пыльный ботинок, пнул загородившее было дорогу кресло и, выйдя в коридор, еще раз запер дверь.

Мягко заурчал мотор “тойоты”. Отчалили.

– Заскочим ко мне, – предложил Франсуа, – на полчаса. Мне нужно забрать остальные снимки.

“Тойота” нырнула в проем между красным фургоном “сони” и разрисованным огромными цветами “фольксвагеном”.

– Ты чего такой мрачный?

Франсуа ни о чем не знал. Сначала Ким хотел ему сказать. Но потом передумал. Зачем?

У Франсуа они распили бутылку перемороженного шампанского.

– Я знал один очень не бедный дом недалеко от Сен-Поль-де-Ванс, – сказал Ким. – У них отдельный холодильник круглый год был набит “Кристаллом”. По мне лучше было пить теплую итальянскую шипучку. *Il se casse dans le frigo, ce vin des putes et des rois!*¹

– Скажи это Малигайе, – хихикнул Франсуа, – она не отличает шампанское от швепса...

В глубине квартиры негромко играл Брамс. Тот же Второй концерт, что и прошлой ночью. На какое-то мгновение перехватило дыхание, екнув, остановилось и тут же с места, невпопад, сорвалось сердце.

Деньги Франсуа одолжил, как всегда не задавая вопросов. И, как он ни упирался, Ким оставил ему хассель и два объектива.

– Считай, что в залог, – сказал он.

Малигайя вышла из спальни с телефоном в руке и в точно таком же, только изумрудно-зеленом с золотыми драконами, а не пурпурном, кимоно, в котором еще несколько часов назад разгуливала по лофту Дзэ и в котором он заснул под утро. Целуя ее в щеку, – она продолжала быстро говорить в трубку – Ким с облегчением отметил, что ни она, ни ее кимоно не пахнут крепкими духами “Mlle X” из крошечного магазинчика с бульвара Распай.

¹ Оно портится в холодильнике, это вино курв и королей! (*фр.*).

Было около пяти вечера. В застоявшемся воздухе проскакивали электрические искры. Еще днем небо над городом заволокло, и опактивный свет заливал все видимое пространство, дрожал, как где-нибудь над болотами Куоккалы. Ким равнодушно смотрел, как сквозь мутное, белесое это мерцание прорастали, упираясь в низкое небо, башни города, их шпили, их тайные, на 68-м этаже, сады, как исчезали в клубящейся пустоте водонапорные баки и арки мостов... Спятивший мир. Обезумевший кирпич и бетон... Жирной мухой по диагонали, щекоча слух, то исчезая, то появляясь вновь, скользил вертолет.

Долго, как во сне, ползли через мост. Глухо стучали колеса о стальные плиты. Где-то впереди, за знаком объезда, работяга в оранжевой каске курил, отвернувшись от бесконечного медленного потока машин. Второй налегал на прыгающий отбойный молоток. Рейс Пан-Ам номер 118 вылетал в 19.30.

Старик Маркс был не прав – *небытие* определяло сознание...

God bless America!¹ – ни очередей, ни паспортного контроля в аэропорту не было. На ходу в duty free он купил литровую бутылку “обана”. Боинг-747 был забит до отказа, и его посадили в первый класс на втором этаже.

¹ Боже, благослови Америку! (англ.).

Загорелый стюард в безукоризненном сером кителе принес шампанское. Ким отказался, и стюард, вращая бедрами, что твоя Клава Шиффер на сен-лорановском помосте, вернулся с тяжелым бокалом коньяка. Благоухая, как месяц май в полях возле Грасса, появилась розовая старушка в розовых же шелках, устроилась рядом.

– Monsieur...

– Bonsoir, Madame! ¹

Всколыхнув плотную штору, прошел в кабину седой и тучный пилот. Стюардесса в голубом привела и усадила в первом ряду неуклюжую, лет двенадцати, девочку, похожую на юную Одри Хепберн. На груди девочки висела планшетка с выходными данными. Импорт-экспорт – дети почтой! Самолет начал выруливать на взлетную полосу.

С коньяком в руке Ким прильнул к иллюминатору. Вдалеке, за бетоном летного поля, за выжженной замусоренной травой и радиомачтами быстро ползли чернильные щупальца надвигающейся грозы. Ему было жарко, душно. Приподнявшись, он отвинтил жерловину вентилятора. Ледяная струя вяло защекотала темя. Он надел радионаушники: по третьему каналу, словно в мире не осталось других дисков, закипало и хоккусаивской волной перехлестывало все то же *allegro appassionato*, выкипело наконец, перешло в *andante* – чистая глюкоза.

Он содрал наушники с головы, мятым платком отер пот со лба. Ночь возвращалась. Он тряхнул го-

¹ – Сударь! – Добрый вечер, мадам! (*фр.*).

ловой. В паху заняло, свело живот, и вверх по позвоночнику медленно, как спирт в градуснике, пополз, разрастаясь, вчерашний ужас... Он медленно вспыхнул, словно его подожгли изнутри, и тут же взмок. Грудь мерзко и подло сжало, и мир начал гаснуть, как коридорная лампочка.

В этой новой полутьме чем-то боковым, но не зрением, он отметил, что свет, натекающий из окна, был наполнен тьмой. Тьма была содержанием света. Громко, с остановками, перекрывая двигатели, в ушах ухало сердце.

Потом разносили газеты. Он потянул наугад. Рука тряслась, в правом боку продолжал проворачиваться широкий клинок боли. Горби загорал в Фаросе. Крепкий запах типографской краски. Стюард, сев на свободное место, не глядя щелкнул застежкой ремня. На юге Франции горели леса. Были Фрейд фаллокротом? Темно-бордовые ряды кресел вздыбило – боинг круто карабкался вверх.

Рука была тяжелая, деревянная. Он провел ладонью по лицу, сглотнул. Кожа лица была, как обмороженная. Соседнее кресло пустовало. Старушка смылась на свободные места в правом ряду. Боинг, дрожа, все еще полз по диагонали вверх, вся мощь моторов боролась с земным притяжением. Масса, умноженная на силу. Если нет никаких сил – избавься от массы. От массы себя. С затылка, как с Северного полюса, сползал лед. Мышцы шеи были сведены. Сползая, лед таял, превращаясь на 99 процентов в пот, и на один процент – в глазную влагу.

За окном было чистое лилово-синее небо. На нежном бархате пульсировали несколько крупных звезд. Асбестовая кожа океана была изрезана глубокими морщинами. Щепка нефтевоза лежала поперек длинной пенистой волны. Воздух бил теперь из вентилятора крепкой тугой струей. Пот подсыхал, и Кима приятно знобило. Улыбнувшись, он показал пустой бокал стюарду, и тот кивнул в ответ:

– Tout de suite, Monsieur...¹

Нью-Йорк был далеко. Уже – далеко. Над городом рваным одеялом ползла гроза. Во вспышках молний башни небоскребов на несколько секунд увеличивались в размерах. Асфальт был как отвердевшая черная икра. Стаи желтых кебов неслись по Пятому авеню. Мокли серые в яблоках лошади, покрытые красными попонами возле отеля Плаца. Шофер “ягуара”, сворачивающий с 57-й на Парк авеню, говорил, не поворачивая головы в глубину салона:

– Yes, madame, мы как в подводной лодке, yes, в желтой, madame, подводной лодке... No, Madame, мой старший брат был знатоком Битлз; я же играл на скрипке до четырнадцати лет...

На ступеньках сабвея, пережидая дождь, топтались люди. Все вместе и каждый отдельно. Каждые пять минут подземка отрыгивала двадцать-тридцать новеньких. Через мокрое в подтеках окно забегаловки на улицу смотрел седой юноша. Челюсти его двигались. Он медленно жевал сэндвич, на-

¹ Здесь: Немедленно, господин (*фр.*).

блюдая, как под колесами автобуса дергается раздавленная реклама. И где-то там, в лабиринте манхэттенских улиц, в одной из бетонных коробок, в подвале, наверное, в стальном выдвижном холодильном шкафу лежала Дэз. Мертвый сосок, свалывшиеся волосы, два пива и сухое мартини в крови. Лицо вытянутое и сплющенное, как на картинах Бейкона.

До Парижа было семь часов и одна минута лета. Небытие продолжало определять сознание.

В темном углу памяти долгое время плесневел тот забытый, февральским дождем заштрихованный день. Лишь когда они поссорились в первый раз и она уехала в горы с сестрой на целых десять дней, день этот, этот тусклый, по-парижски серолиловый *après-midi*¹ грязным пузырем всплыл на поверхность и лопнул, забрызгав зрение.

Он ждал Бориса в забегаловке на углу Ваван и Богоматери Полей. Было шумно, накурено, сыро, пахло духами, дезинфекцией, псиной. Гарсон принес третью чашку кофе и стоял, отсчитывая сдачу. За столиком напротив сидела молодая женщина и, глядя широко открытыми глазами на Кима, улыбалась. Сначала он смутился, но потом, переведя взгляд на ее лабрадора-поводыря под столом, понял, что она слепа.

Ей было лет двадцать пять, от силы двадцать

¹ Полдень (*фр.*).

семь. Она пила чай с лимоном и в том, как она нащупывала чашку, как размешивала сахар, как отодвигала пепельницу, была трогательная хрупкость, ужасающая доверчивость. Пальцы ее ошибались лишь на несколько миллиметров. Она не была накрашена, глаза ее не были подведены, но рот, быть может слишком хищный, слишком блестящий, хранил следы губной помады. Вдруг Ким понял, что может совершенно безнаказанно, в упор, разглядывать розовое, дышащее здоровьем и любопытством лицо этой молодой женщины. Странное ощущение интимной близости наполнило его. Он чувствовал, что она знает, что на нее смотрят...

Привычным движением, наощупь, он достал из сумки “лейку”, помедлил. О вспышке не могло быть и речи. В камере был заряжен эктахром-400. Если дожать его до 3200, снимок будет зернистым, как портреты Сера...

Он перепрограммировал чувствительность, замерил свет по ее серому плащу, перевел программу на ручную – под столом зашевелился пес – и нажал на спуск. Мотор “лейки” – самый беззвучный в мире, шум кафе легко глушил щелчки. Но слепая повернула голову боком, вслушиваясь. Свет лампы тепло разлился по ее лицу. Ее полные губы явно хотели что-то спросить. Ким быстро поправил выдержку, навел на резкость по ее ресницам, щелкнул раз, щелкнул два – кто-то влез в кадр, загородив...

На всякий случай он отвернулся к окну, прицелился. Счетчик выдержки упал с 1/125 на восемь

секунд. Улица глянцево-черно блестела, из-под колес автобуса летели брызги, от прохожих остались лишь ноги да зонты.

Это был старый трюк – сделать вид, что ты снимаешь что-то рядом. Уличная фотография требовала наглости, воровство чужих лиц взывало к сноровке и актерству карманников.

Он отложил камеру, отметив краем глаза отрывающегося в дверях Бориса, поглядел на соседний столик. Миловидная лицеистка, скорее всего сестра, с сигаретой в губах, одной рукой гладила уткнувшегося ей в колени пса, другой тянулась за чайником с заваркой.

– Un express, un diablo et deux demi! ¹ – кричал гарсон бармену, исчезая с подносом над головой в створчатых дверях кухоньки.

Борис был мрачно весел, пил “мар”, тыльной стороной ладони скреб щеку. Он только что сбрил бороду, и на лице его, как след от маски, бледнела гладкая детская кожа.

– Однажды в Москве, – рассказывал он, вертя головой, – сбрил я бороду и, вернувшись домой, не отпер дверь своим ключом, а позвонил. Открывает мать, смотрит на меня и говорит: – А Бореньки нет... Он будет позже... Представляешь! Года три подряд умоляла меня соскоблить бороду, а когда я...

– C'est quelle langue, s'il vous plaît? ² – спроси-

¹ Кофе, дьяболо и два полпива... (дьяболо – безалкогольный напиток с мятным сиропом...) (фр.).

² На каком языке вы говорите? (фр.).

ли за спиной. Обе сестры смотрели на них, улыбаясь.

– *C'est une langue bizarre*,¹ – обрадовался Борис. – Наполовину исчезнувший, наполовину одревеневший. *Une langue de bois de bouleau ou simplement: la langue de boulaie*.²

– Йа ним ношко понимай у, – сказала большеротая младшая, и старшая опустила кусок сахара мимо чашки.

– Институт восточных?.. – спросил Борис.

– О, нет, – ответила, раздумываясь, по-французски младшая – лицом...

– Кажется Лолитка просится на травку, – бросил Борис Киму. – Вам не нужен домашний учитель? – спросил он, переходя на бархатный рокот.

– Спасибо, – отвечала девушка. – Я думаю, мне придется остановиться на родном, французском. У меня, честно говоря, никакого дара к языкам.

Что, конечно же, было неправдой. Осенью того же года на вечеринке у Татьяны Ким убедился в этом. Она говорила по-испански, совсем недурно по-итальянски, ее английский сохранил чудовищный французский акцент, а ее запас русских слов к тому времени уже достиг уровня дебильного октябренька...

В конце апреля Ким был на Джербе. Ровно, как дорогой софит, пылало тунисское солнце. Хаппи,

¹ Это странный язык (*фр.*).

² Язык березовых рощ, проще – березняка (*фр.*).

тридцатилетний Yankee-noodle,¹ в пестрых длинных шортах и с головой, повязанной банданой, расставлял штативы, таскал кофры с аппаратурой и гримом, пускал гигантские зайчики круглым щитом рефлектора.

Амели, гримерша агентства, загорелая до цвета спелой сливы тридцатилетняя брюнетка, курсировала между шезлонгами и бассейном с охапкой свежих полотенец. Три модели, – две немки и одна американка, плескавшиеся в яблочно-зеленой воде бассейна – за несколько дней настолько подняли гормональный уровень мужского населения гостиницы, что менеджер отмечал удвоение выручки в баре. Аборигены глазели на див издалека: верблюдам и коробейникам было запрещено пересекать невидимую линию, отделявшую пляж гостиницы от остального мира.

Агентство мод платило сказочные деньги, сезон лишь начинался, цвел дрок и лоррье, ночь наступала внезапно в восемь вечера, словно перегорали небесные пробки, и была черна, как засвеченная пленка, местное вино напоминало армянское и было тяжеловато, как и гримерша Амели, чья буйная фантазия не знала границ и – не требовала виз...

До пяти вечера можно было валяться на пляже. Обгорелое мясо северян дымилось в тени зонтов. Итальянцы базлали так, словно у каждого в глотку

¹ Игра слов, вместо Yankee-doodle (янки-бездельник из популярной песенки) – янки-макаронина (англ.).

был вделан громкоговоритель. Худой пацан в мокрых, к телу прилипших трусах, предлагал прокатиться верхом. Груда старых диванных подушек валялась на раскаленном песке: верблюды по имени Курт Вальдхайм и верблюдица – Брижитт Бардо...

Толстые, в складках опадающей кожи, блестящие от крема, глядящие на мир сквозь дорогие сенлорановские очки шестидесятилетние немки отправлялись в розовые песчаные дюны в сопровождении четырнадцатилетних жиголов. Трое мальчишек на одну веселую бабушку. Тридцать немецких марок – что на них купишь в наше время в Европе?

В ярко-синем, если долго смотреть, почти черном, несмотря на жару, небе медленно скользил парплан, натягивая серебряную нитку, таща за собой прыгающий через волны катер. Из сбруи подвесных ремней свисали четыре ноги. Старый араб в белом гостиничном кителе, прямой, как палка, и как палка, худой, с каменным лицом, на котором под полоской седых усов трещиной была прорезана презрительная улыбка, обносил пляжников охлаждающими напитками. Мокрый лабрадор нес в зубах оранжевую тарелку “фрисби”.

Мир делился на черных и на белых, на тех, кто уже отоспался, отдохнул и загорел, и на тех, кто нервно озирается на пляже, не зная, куда швырнуть свое куриное мясо, свои голубые мощи. Здесь были фанатики загара, промасленные, как неаполитанские кабачки, не признававшие кремов с фильтрами, и – такие же одержи-

мые борцы с ультрафиолетовыми лучами, каждые полчаса втиравшие в кожу “стопроцентный экран” или “фактор 22”...

Постепенно голубокожие темнели, обугливались, нагтели, начинали шуметь по вечерам, забывали про диету, заказывали лобстеров, но приезжали новенькие, щурясь, выходили на балконы, долго смотрели на золотую морскую рябь, спускались к бассейну, прятались под зонты, спрашивали, теплая ли вода... Через неделю и они уже катались верхом на Вальдхайме, летали по небу под куполом парaplана, ныряли с пирса и горланили на пляже до самого утра...

После пяти можно было начинать снимать. Тридцать пять купальников, столько же шляп, очки от солнца, часики, бусы... Ким ловил в видеоискатель «поляроида» атлетическую Бетти, в то время как заботливая Амели втирала ему в спину и плечи очередную порцию крема, заодно скрывавшего и следы ее острых коготков.

Самой знаменитой из трех манекенщиц была Криста. Ее высокие скулы, ямочки на щеках, вороного крыла коротко стриженные волосы, не голубые, а синие, пронзительно синие глаза, ее губы, зубы и даже ее особая яблочно-розовая кожа – не сходили с обложек журналов.

Ирма была немкой по паспорту; ее отец был бразилец, мать – швейцаркой, вышедшей вторым браком за немца. Ее было труднее снимать: менее спортивная, чем Бэтти и Криста, она была сказочно женственна и обладала качествами, которые не

брала пленка – великолепным грудным голосом, фантастическим чувством юмора и дипломом экономиста.

Когда-то Ким сходил по ней с ума. Но после проведенного вместе уикенда в весеннем Сен-Мало раз и навсегда охладел. Они остались друзьями. Вернее, они стали наконец друзьями. В последнее время, где бы Ирма не снималась, за ней постоянно ездил венгерский миллионер, толстый, как паша, застенчивый, как девушка, Иштван Бальфаз. Он объявил ей, что рано или поздно, через год или через десять лет, она выйдет за него замуж...

Со стаканом дрянного местного пива и пачкой черно-белых поляроидных проб Ким сидел на топчане в подвижной тени веерной пальмы, когда чей-то голос за спиной произнес:

– Ви имеете время?

От перегрева бывает и не такое. Он оглянулся. Девушка из кафе на улице Ваван лежала на ярко-красном полотенце Соса-Сола и улыбалась большой застенчивой улыбкой. За ее спиной на табурете у бара шлепала ладонью по стойке, ища спички, ее сестра.

– Мир тесен, – пробормотал Ким. – Каникулы?

– Что-то вроде, – ответила девушка, садясь. – А вы фотограф?

– Что-то вроде, – передразнил Ким.

Они рассмеялись. Она протянула руку:

– Дэзирэ...

– Ким, – сказал он.

– Вам не нужна ассистентка? Я всегда мечтала стать фотографом. Я даже была на стаже в Эксе. В прошлом году... Она вытащила из соломенной пляжной сумки старый ободранный “роллефлекс” и теперь стояла перед ним, протягивая свое сокровище. Кроме солнечных очков и современного фигового листа, на ней ничего не было.

Худая, крепко сбитая, с широкими мальчишескими плечами, с небольшой крепкой грудью (как говорила Татьяна – ровно столько, сколько поместится в ладони...), с большими серыми глазами, высокими скулами, с копной темнорусых мокрых волос, она и сама могла бы быть моделью. Разве что слишком крупный рот: шелкунчик. И конечно же, для топ-модели ей не хватало десяти-пятнадцати сантиметров. Но в ее возрасте еще растут...

Подошла загримированная, причесанная Криста. Бретельки серебристо-лилового купальника были, пожалуй, слишком длинны. Амели отправилась за кофром с нитками. Притащился одинокий ковбой Хаппи. Он потреблял какие-то цветные таблетки, и время от времени его воспаленные глаза начинали выглядеть, как стекла калейдоскопа. Хаппи замерил свет у персиковой щеки Лины, подмигнув Дэзирэ, прохрипел:

– Мы где-то встречались, а? У меня память на лица. В Антибе? Каннах?

– Терпеть не могу Ривьеру – сказала Дэзи-

рэ. – Этих богатеньких старичков с их девицами...

Где-то высоко прокашлялся динамик и женский голос произнес:

– Господина Тууликки Коскениеми просят к телефону...

Ветер разорвал по складам финское имя, и белобрысый вождь обгорелых краснокожих, щурясь и напяливая на мальчишескую голову бейсбольную кепку цвета давленной клубники, выступил из полосатой тени бара.

Они успели отснять лишь три купальника. К шести вечера появились первые облака, небо начал затягивать грязный занавес шедшего с материка песчаного шторма, две шляпы улетели к верблюдам, захлопали окна и, выплеснув наружу полбассейна, в воду плюхнулся проснувшийся наконец Иштван Бальфаз, вернувшийся в гостиницу на рассвете на двух такси: в одном он ехал сам, во втором – небольшой местный оркестр, устало наяривавший нечто, смутно напоминавшее чардаш.

Вечером всей компанией сидели в ресторане. За огромными окнами бушевало ночное море. В непроглядной, ветром изрытой тьме протяжно ухало и на желто подсвеченный песок пляжа выбегала пузырчатая пена, таяла, слышался глухой рокот новой налетающей волны, и сидящий возле дверей музыкант, держа ауд вертикально, брал тревожный, для европейского уха наизнанку вывернутый аккорд.

Все, кроме розового гиганта Отто, нового дружка Бетти, пили ледяное мюскаде. Молчаливый

Отто налегал на пиво. Стол был завален каркасами и клешнями лобстеров и, по замечанию Хаппи, был похож на свалку старых автомобилей. Иштван Бальфаз появился в самом конце ужина, заткнул салфетку за ворот фосфоресцирующей в полутьме ослепительно белой рубахи, заказал бутылку “сиди-саада” и королевский “кускус”.

После десерта, к которому никто не притронулся, Ким подошел к сидевшим у окна сестрам. Обе были в одинаковых светлых открытых платьях. Старшая, Ирен, преподавала сольфеджио и вечерами играла на рояле в крошечном джазовом клубе возле Лионского вокзала. Ким узнал, что раньше у семьи был дом на острове, но после смерти матери – детали не сообщались – отец, получивший пост в ООН, дом продал и теперь строился во Флориде.

Вернувшись к своим, он услышал конец какого-то анекдота, автоматически хохотнул со всеми вместе, зевнул и потребовал счет. Наклонившись к его уху и глядя в сторону, метрдотель сообщил, что господин Бальфаз опять заплатил за всех... Ким пожал плечами и, перехватив взгляд венгра, сложил ладони вместе и нырнул в фальшивом благодарственном поклоне. Затем он зевнул в салфетку еще раз, почувствовал руку Амели у себя на коленях, закрыл глаза, ища в памяти ужасно смешной анекдот, дабы внести и свою лепту в коллективное содрогание, но тут все встали и задвигали стульями.

В коридоре его нагнал Отто. Смущаясь и ища французские слова, великан поинтересовался, не

знает ли Ким, где можно найти в это время пачку презервативов.

– Try a plastic bag!¹ – хотел было посоветовать Ким, но вместо этого отправил его к венгру, который путешествовал с доброй дюжиной чемоданов и кофров, со своим стерео, спутниковым телефоном, запасом сладкого золотистого токая и дорожной аптечкой, содержимое которой могло бы спасти от болезней население небольшой африканской страны.

Он вышел пройтись перед сном. С трудом выскользнув скользкие плиты и покрытую пленкой песка воду бассейна, внутри шара водяной пыли одиноко горел тусклый фонарь. На пляже кто-то пьяный бросался в грохочущие волны, его оттаскивали, южный край тьмы был задран и разлохмачен, и мутно мелькала то ли звезда, то ли фонарь шалупы.

Он вернулся в номер, Амели журчала в ванной, разделся, вяло плюхнулся на сухие, как жесть гремящие простыни, взял в руки потрепанное карманное издание автобиографии Канетти и, не успев раскрыть, заснул, как в детстве или в армии, словно катапультировался.

Проснулся он рано, не было и семи, двойная дверь террасы была распахнута настежь, и тугие волны солнечного света бесшумно и лениво бились о стены, сухими брызгами рябили на потолке. Где-то на окраине слуха звякало стекло, поскрипыва-

¹ Попробуй пластиковый пакет! (англ.).

ли колеса коридорных тележек, слышался приглушенный смех и негромкая, словно пущенная наоборот, музыка местного радио.

Обезглавленная Амели представляла собою пейзаж перед битвой: крутые холмы и нежно очерченные долины, небольшой сад, скрытый курчавым кустарником, рубиновый крестик, сбившийся на спину, перекрученные во сне простыни. Голова ее была спрятана под подушку.

Пришлось довольствоваться оставшимся.

За несколько дней до отъезда Иштван Бальфаз устроил джиповый набег на материк. Первый “лендровер” вел Хаппи, второй – Отто. Ким не поехал и вечером пригласил сестер отужинать в Абу Навас.

В ресторане было полупусто и, хвала Аллаху, полутемно. Столики были освещены свечами, официанты скользили бесшумными тенями, из прорезей вентиляции хлестал арктический воздух и приятно вибрировали струны неизбежного ауда. За большим круглым столом невдалеке гуляла местная компания: крупные усатые дяди, каждый с солидным запасом жировых отложений. Лица их были мрачны. Маска мачо в любом южном краю ближе к похоронному бюро, чем к цирку. Ирен, сидевшая к тунисцам лицом и по привычке улыбававшаяся, притягивала их внимание.

Ким рассеянно слушал ее рассказ о детских каникулах на острове, об их служанке Фатиме, которая обладала даром предвиденья, но извещала о

грядущем со скукой, как иные рассказывают надоевшие истории из прошлого. Фатима знала, что мать сестер умрет, но лишь намекала на болезнь, словно не хотела обижать хозяйку... Свое предсказание она смутно связала с “дальней дорогой”, с новой жизнью в далекой стране “на другом конце света”.

Как и в дождливом Париже в феврале, Ким был заинтригован возможностью ненаказуемо в упор разглядывать лицо Ирен, знать, что она знает об этом и чувствовать ее доверчивую открытость. Лицо ее было полнее и женственнее, чем лицо сестры: словно снятое через размывающий фильтр. Дэзирэ все еще была девочкой-подростком, почти мальчишкой – с острыми углами и резкими движениями. Слепота Ирен придавала ее осторожным жестам еще большую мягкость и округлость. Она жила на слух и наощупь. Ее обнаженность, нескрываемая, открыто вовне обращенная чувствительность были ее единственным оружием.

В какой-то миг Ким представил себе ее крепкое загорелое тело, ее зрячие ласкающие руки, и его окатило кипятком, и опять, как и тогда, когда он тайком снимал ее в кафе, он знал, что она читает его мысли – лицо ее слегка дрогнуло и губы шевельнулись, собираясь что-то сказать.

Дэзирэ тоже, на долю градуса, изменила положение головы. Он понял, что и она умеет читать мысли. По крайней мере, если они касаются ее сестры...

– У меня есть ваши фотографии... – сказал он,

смутившись. – Я вас снял тогда в кафе, в Париже. Если вам интересно, я вам пришлю...

Это был явный ляп... Прислать слепой ее портрет... Болван! К счастью, официант принес украшенные листьями мяты дыни, бутылку магона, в салфетку завернутые горячие хлебные лепешки.

Ким много пил: три виски в баре, большая рюмка водки за компанию с сестрами, холодный, но тяжелый магон. Он не знал, о чем с сестрами говорить, а потому нес несусветную чушь, рассказывал про сибирский атомный город, про слепых от радиации уток, про белые ночи в Питере, пустые à la Magritte, площади, затем, без перехода, про Бориса, который пытался приспособить русский способ хохмить к французскому языку.

– Его последний перл, не знаю, право, не родил ли кто из французов подобный же шедевр, это: “Elle a pleuré comme la Madeleine de Proust...”¹

Дэзирэ хмыкнула, но по лицу ее было видно, что она не поняла. Она вообще была немногословна. Да и слушала рассеянно, настроенная на какую-то, одной ей известную, волну. Волосы, собранные в пучок, высокие скулы, худая шея – она следила за сестрой, словно была ее матерью или нянькой... Почти не притронувшись к дыне, она опять курила, теребя свободной рукой тускло мерцающую нитку жемчуга на загорелой шее.

¹ Игра слов: Она рыдала как прустовская Магдалина... (Знаменитое печенье в первом томе “В поисках...” М.Пруста “мадлен” является женским именем – Магдалина. По-французски “плакать как Магдалина” – значит сильно рыдать...).

Ближе к полночи на разваливающемся так-си они перебрались в свою гостиницу, миновав заслон скучающих на лестнице вышибал, спустились в диско. И лишь здесь, в пестрой полутьме, среди быстро вращающихся голубых лучей и пульсирующих звуков, Дэзирэ ожила. Народу было мало, и она танцевала почти что одна. С первых же па Ким понял, что она занималась балетом, ее тело знало и язык классического танца, и жаргон современного.

Ирен, полулежа на плюшевых подушках полукруглого дивана, потягивала из высокого хайбола что-то кровавое. Ее полная грудь туго натягивала лиф платья. Потянувшись за пепельницей, Ким оказался рядом с этой нежной выемкой, отороченным кружевом разрезом декольте. Медленно, как во сне, он дотронулся губами до влажной кожи, словно вытирая губы, провел из стороны в сторону... Ирен не вздрогнула, не отстранилась, но над его головой звякнул в стакане лед, и на шею капнуло холодным. От Ирэн шел терпкий запах туберозы.

Она ничего не сказала. Он ничего не сказал. Она перестала улыбаться и смотрела теперь в сторону. Ее маленькое ухо было пунцового цвета. Лицо ее, шея, грудь, одно обнаженное плечо покрылись мелкими каплями пота. Вернулась Дэзирэ, потянула сестру за руку. Ким перенял из ее руки хайбол, поставил на столик.

Ирен танцевала, почти не двигаясь с места. Бешеный ритм Копа-Кабаны она разделила на какой-

то свой коэффициент. Дэзирэ, прикрывая собой сестру от приближавшихся танцоров, страховала каждый ее шаг. Улыбка опять вошла на лицо Ирен, но теперь она раздражала Кима. Он повернулся, ища глазами официанта, и чей-то визгливый голос выплюнул из полумрака: – *Laisse-moi! Fais pas chier!*..¹ Как это часто бывало с ним в последнее время, он спросил себя: где я? что я делаю здесь? среди четырнадцатилетних тунисских жиголо, дюссельдорфских старух, одноразовых шведок и парижских pdg?²

– А где ты хотел бы быть? – спросил он сам себя.

Музыка перешла на *slow*³, на сладкий, как шерри, свинг. Скрипичная группа накатывала высокие круглые волны, и альт-саксофон прозрачно и меланхолично вышивал на фоне брызг что-то знакомое. Кажется, это называлось “Зимняя Луна”...

Наконец появился официант, мрачный тип с нездоровым цветом лица, от его блейзера несло цветочным дезодорантом. Ким заказал полбутылки шампанского, подошла Дэзирэ, потянула его за руку. Он осторожно повел ее, но она, как боксеры входят в клинч, быстро прижалась к нему, и он почувствовал ее руки у себя на шее и ее щеку у своей щеки. Какое-то время они топтались на месте, и Арт Пеппер раскручивал и раскручивал гигантскую спираль своей меланхолии, потом в его руках

¹ Оставь меня в покое. Не приставай! (грубо) (*фр.*).

² Сокращение – руководящие работники, боссы (*фр.*).

³ Медленный танец (*англ.*).

оказалась Ирен, и от укулов ее сосков и мягких ударов ее бедер у него заныло в паху. Краем глаза отметив, что Дэзирэ отправилась к тяжелой портъере, скрывающей дверь в туалет, продолжая чуть заметно двигаться, он поцеловал ее в полуоткрытый чуть кислый рот, она остановилась, и он почувствовал ее мягкий живот и ее пальцы, продирающиеся сквозь волосы на его загривке.

– Танцевать – это как спать стоя, – сказал он. – Честное слово, я сегодня ставлю рекорды пошлости.

– Вы, наверное, плохо спите?

– Да нет..

– Тогда вы, наверное, имеете в виду что-нибудь другое...

В этот момент грянула “Лихорадка в субботу вечером”, и Ким, взяв Ирен за руку, как школьницу, отвел к столику.

Через полчаса Дэзирэ, отказавшаяся от шампанского и пившая стакан за стаканом воду, сказала на ухо Киму:

– По-моему, моей сестре пора спать... Elle se couche tôt...¹ И подумав, не без знака вопроса, добавила по-русски: – Йей поздно...

И только тут, повернувшись к Ирен, Ким понял, что она была тихо и безнадежно пьяна. Ее бокал был тут же конфискован, и сама она была отбуксирована в номер на втором этаже. Ким помог уложить ее в постель, и пока Дэзирэ раздевала

¹ Она ложится рано (фр.).

сестру, вышел на балкон. Полная луна ярко освещала пляж и гладкое, словно замерзшее, море. С полотенцем в руках появилась Дэзирэ.

– Ça vous dirait d'aller vous tremper avant de dormir? ¹

Они спустились по полуосвещенной лестнице и, миновав конторку с дремавшим дежурным, вышли к бассейну. Целая ватага кошек брызнула врассыпную. На берегу, не оглядываясь, Дэзирэ сбросила халат на песок и вошла в воду. Ее голое тело, облитое лунным светом, было не таким мальчишеским, как днем. Она плавала, как торпеда, светящийся серебряный след тянулся за нею. Ким сел на песок. Его слегка тошнило. Медленно он развязал шнурки парусиновых туфель, стянул брюки, расстегнул рубаху. Оставшись в одних трусах, он поежился, затем, прыгая на одной ноге, стянул и их. Он шел по мелководу в теплой парной воде. Каждое движение поджигало воду. Шаг – вспышка. Было видно далеко, до самых дальних строений на востоке, до цепочки огней на западе.

Он нырнул в темную, полную взвешенного песка мглу, тут же вынырнул, фыркнул и перевернулся на спину. Коротко, оцарапав глаз, упала звезда. Луна, наполовину скрытая грязного цвета облаком, была огромной и теплой, как грудь немолодой кормилицы. Он перевернулся опять и, медленно выбрасывая руки, поплыл ленивым кро-

¹ Не окунуться ли перед сном? (*фр.*).

лем, чувствуя, как против воли оживает, просыпается, трезвея, тело.

Мимо проскочила, возвращаясь, торпеда. Он повернул вслед за ней, но угнаться было невозможно. Он вообще плавал до стыда плохо. Не хватало дыхания, старый ужас вместе с солью был растворен в воде. В восемь лет в Тушино его задел бесом несущийся милицейский катер, и он чудом спасся от винта. В тот день он наглотался зеленой воды, но еще больше – страха.

Он видел издалека, как Дэзирэ вышла из воды, как накинула на плечи халат, как отжала, склонив голову, волосы. Он хотел выйти на несколько метров левее, но потом понял, что это глупо, и пошел прямо к своим вещам.

Он стоял голый, отряхиваясь, когда она подошла.

– Полотенце почти сухое, – сказала она, протягивая.

Он медленно вытерся, натянул брюки, сгреб в охапку вещи. Взявшись за руки, как дети, они пошли по освещенному луной пляжу к гостинице. Где-то далеко трещал мотор мотоцикла. Слабо плескалась волна.

– Чего мне здесь не хватает, – сказала Дэзирэ, – так это цикад...

Он посмотрел на нее сбоку. Опустив голову, она улыбалась, словно знала что-то такое, о чем он и не догадывался.

– Эта милая брюнетка – ваша жена? – наконец спросила она.

– О, нет! Подруга... Когда-то я был женат, но счастье это продлилось лишь шесть месяцев. Развод был веселее свадьбы...

– Mais elle a pleuré comme la madeleine de Proust?..¹

– Ничего подобного! Девушки часто выходят замуж, чтобы отделиться от родителей. Это и был ее случай.

Гостиница была погружена в сон. В широком окне коридора морской пейзаж фосфоресцировал, как картина гиперреалиста. У дверей номера он выпустил ее руку.

– Спокойной ночи, мадемуазель, – сказал он тихо. Спокойной ночи, месье, – сказала она, улыбаясь, и по-парижски они расцеловались..

– Dormez bien...²

Подушка пахла Амели, простыни гремели, как жесть, и сухо кололся невытряхнутый песок. Он хмыкнул, дернув ногой, вспомнив, как Дэзирэ смотрела на него, пока он вытирался, что-то приятное и давным-давно забытое начало обволакивать его, он повернулся на живот, зарылся в подушку, затем, без перехода, увидел темный сруб деревенского колодца, изумрудным мхом отороченные бревна, тень своей взлохмаченной головы, качающуюся на расходящихся зеркальных кругах маслянисто-черной, иссиня-аспидной воды.

¹ Здесь: И она действительно рыдала, как прустовская Магдалина? (фр.).

² Приятных снов (фр.).

На следующий день, в затишье сиесты, два покрытых рыжей пылью “лендровера” подружили к козырьку гостиницы. Вяло и с кислым видом разбрелись длинноногие дивы и загорелые ковбои по номерам. Компания не добралась до Карфагена, все, кроме Бальфаза, были больны знаменитой местной разновидностью дизентерии: *la djerbiainne*.¹

В самолете тем же вечером они заняли места, благо кресла не были пронумерованы, в хвосте, ближе к туалетам. Бальфаз вручал каждой вернувшейся из уборной девице новую порцию имодиума. Отто отказывался от лекарств. Осунувшийся Хаппи жевал зерна тмина и запивал их водкой. Его загар слинял, и был он непривычно бледен. Полузакрытыми глазами смотрел он в окно на широко пылающий закат и зло шевелил желваками.

Париж приближался медленно, Франция наползала рывками, словно кто-то тянул к югу, к морю – стягивал с нее пестрое лоскутное одеяло.

Июнь Ким провел в Венеции. Еще зимой он получил одномесечную стипендию, что-то вроде премии, от фонда Ирмы Рубенфельд. Он жил в удобной двухкомнатной квартирке недалеко от Кампо Сан-Поло. Студия была на последнем эта-

¹ Местное название дизентерии (*фр.*).

же, и в круглых корабельных окнах, выходявших на юго-восток, плескалась не зеленая вода каналов, а горячее море черепицы.

Он никогда не был в Венеции летом, в сезон, но в первое время стада туристов, шум, атмосфера ярмарки, базара – не раздражали его. Он знал Венецию зимнюю, почти пустую, он помнил piazza¹ под снегом и пересекающих ее цепочкой по диагонали, как пустыню Гоби, по-военному закутанных, неизбежных японцев. Он помнил Гвидекку под мокрыми струями снега и густой туман на острове Сан-Франческо дель Дезерто, туман, в котором кто-то огромный и невидимый полоскал горло, в то время, как не различимая за монастырским парашютом ухала и чмокала вода. В памяти его отпечатались ледяные молочно-синие рождественские ночи на набережных и клубящийся лиловый, крупно-зернистый свет фонарей на мостах, ожоги ледяного ветра на палубе “вапоретто” и вкус густого cioccolata con panna² в крошечной забегаловке возле Фениче.

И все его снимки тоже были зимние, синие, как китайский фарфор, серые, как влажная фланель, с теплыми пятнами рыжего – каминных отсветов на потолке, абажуров за занавесками, задних огней овощной баржи, пришвартованной к стене узкого, как рукав старого пальто, канала, баржи, торгующей в клочкастой тьме яблоками, кар-

¹ Площадь перед базиликой Св. Марка в Венеции

² Горячий шоколад со сливками (*итал.*).

тофелем, цветной капустой, луком и гирляндами чеснока...

Никогда и нигде, даже в сибирской тайге, он не мерз так, как в январской Венеции. Стоя на корме ночного “вапоретто”, валко, как призрак мимо призраков, скользящего вдоль чуть освещенных стен Дуганы, он, свирепея, пытался отвинтить одеревеневшими пальцами крышку серебряной фляжки с “граппой”. Ветер с лагуны высекал из глаз крупные слезы, проклятая крышка наконец поддавалась, и малиновое тепло, не грея, медленно стекало по пищеводу, отказываясь смешиваться с кровью, и оставалось лежать в желудке, как расплавленная лужа олова.

“Лейка” замерзала, мотор ее молчал, и приходилось носить блок батареек под свитером, в нагрудном кармане рубахи. Треножник кусал пальцы, объектив, стоило дыхнуть в его направлении, запотевал, слезы стояли в глазах, отказывались стекать по щекам, застревали в щетине и окончательно мешали наводить на резкость. Он удваивал, утраивал чувствительность пленки, рассчитывая больше на глубину резкости, чем на собственное зрение.

И все же зимняя Серениссима была на чудо хороша на этих эктахромовских слайдах. Ободранные стены дворцов в оранжево-черной мгле тлели тусклым золотом. Силуэты сгорбленной пары старика со старухой, бредущих по набережной возле Арсенала в клубах светящегося изнутри тумана, могли быть иллюстрацией к Чистилищу. Лак гон-

дол в ясные дни был фиолетовым. Молоденькая продавщица в пурпурном, в талию, бархатном платье, размноженная в зарослях стеклянной лавки бесчисленными зеркалами, сидела, забывшись, с надкушенным яблоком в поднятой руке. Косой снег чуть заметно заштриховывал снимок. Арктическим хладом напитанный мрамор ступеней и портиков церковей был шероховат и бел, как лоб мертвеца. И все-все это было пористым, точечным, как живопись начала века – форсированная проявка и здесь давала крупное зерно.

И вот теперь, в июне, он узнавал и не узнавал свою Венецию. Она была, как оставленная любовница, живущая с другим: преувеличенно веселая, нарочито распахнутая, вызывающе и сомнительно счастливая.

Город был кошачьей столицей, и везде, где мог, он снимал кошек: за оградой домика Д' Аннуцио, в тупиковой Рио Пизани, в саду возле пирса, где их было за сотню, у ног согбенного каменного Гоббо, на могиле Стравинского, на недалеком надгробии Эзры Паунда.

Они напоминали ему банды пригородной шпаны. Среди них не осталось детей Нини, этого любимца Верди и принца Меттерниха, белоснежного душистого Нини, жившего когда-то в кофейне возле Фрари. Нынешние, одинаково грязно-серые, драные, вызывающе независимые, они грелись на черепице крыш, спали в чужих садах, выглядыва-

ли из-под зачехленных синим брезентом сидений гондол, волочили крыс по церковным плитам или, вжавшись в мшистые камни лестниц и выпустив когти, что-то брезгливо ловили в жирной, изумрудно вспыхивающей, пресной воде каналов.

Как-то на закате возле моста Кавали он наехал двухсотмиллиметровым зуммом на морду взъерошенного рыжего котищи, который, время от времени озираясь, пожирал гору спагетти в томатном соусе. Спагетти, вываленных на аккуратно подстеленную *Corriere Della Sera*¹. На одном из проявленных слайдов зверюга исподлобья зло смотрел в объектив – из его пасти длинно свисали нити спагетти.

Город был кошачьей столицей, заселенной каменными львами. Он попробовал сделать серию хвостатых и крылатых – и бросил. Он так никогда и не научился снимать округлый камень, только – плоский. И лишь один лев уцелел на снимках – лысый, возле ворот Арсенала. Снятый снизу в ветренный, с порывами солнечного ливня день, он плыл, полный царственного отвращения, в клубящихся облаках над куполами разноцветных зонтов бельгийских туристов.

Свет в этой летней Венеции вызывал в нем восторг и ужас. Солнце наполняло город, как витая струя воды наполняет голубой эмали ванну. Город по самые крыши затоплен был подвижным легким светом. И свет этот, отраженный в воде

¹ Вечерний Вестник (*итал.*).

каналов и лагуны, в тысячах, в десятках тысяч окон, витрин, иллюминаторов, зеркал, солнечных очков и ручных часов, вибрировал и дрожал. Портативные радуги пульсировали тут и там, длинные голубые шпаги лучей раздирали дневной мрак узких улочек. Магазины стекла полыхали веселыми пожарами. Солнечные зайчики вприпрыжку и врассыпную скакали по плитке площадей.

Он работал теперь с передержкой, почти засвечивал пленку, пытаясь получить бледные пастельные тона, слабо прочерченные контуры. Никаких панорам, как можно меньше облаков, неба, открытого пространства. Вернее, если небо, если облако, то отраженное в оконной раме или – на лакированном боку полицейского катера.

Он снимал двери, ставни и карнизы окон, перила каменных, стертых веками прикосновений мостов, башмаки Гольдони на площади Святого Варфоломея, чаек и ободранные шесты возле пирса Церкви Босоногих, нефритовую, поцелуями утопленников чмокающую воду за колоннами Са' d'Oro, груды чернильно-серебряных, как музейная кольчуга, анчоусов на прилавках Рыбного Рынка, бесконечные ступени, лестницы, мох, плесень... Перед отъездом он провел два дня на невысоких мостах, снимая скользящие мимо вапоретто. Пассажиры не отворачивались, не каменели, как это было бы в Париже, они поднимали головы, женщины улыбались, мужчины наигранно хмурились.

На одном слайде он нашел позднее Маргарит Дюрас, или ее двойника – темные очки, высокий,

под подбородок серый свитер, малиновый, залепивший лицо соседу, вьющийся шарф. На другом была парочка влюбленных – розово-голубая голо-рукая и золотоволосая, как и положено, тринадцатилетняя Джульетта и вжимающий ее в матрас мускулатуры глянцево-черный Яго.

Кто-то плохо сброшюровал томик Шекспира...

Он вернулся в Париж ночным поездом. Дня два все было удивительно милым, теплым, своим. Потом, как гуща на дне кофейной чашки, появилось раздражение.

Очарование первых лет парижской жизни давным-давно прошло: возвращаться в город было всегда приятно, но Париж жил на тощие дивиденды прошлой славы. В городе, несмотря на десятки концертов и вернисажей, сотни спектаклей и выставок, – ничего не происходило. Отсутствовал какой-то коэффициент, какая-то химическая составная была потеряна. Это был город, удобный для карьеристов, рвачей, молодых белозубых волков, готовых пить кровь любой группы, город гоголевских чиновников, изъяснявшихся по-французски, нуворишей Сантье, коктейльных псевдоинтеллектуалов, махинаторов всех цветов радуги.

– Что ты хочешь, – говорил Борис, – города живут и умирают точно так же, как и люди. Париж испустил последний вздох, заглушенный воем сирен и песнями Брежневя где-то сразу после мая шестьдесят восьмого. Баррикады на Бульмише и горящие

ситроены на улице Школ были последней попыткой не сгнить, нахамить в лицо Второму Закону Термодинамики. Мы появились здесь слишком поздно. Надо рвать когти... Здесь слишком удобно жить. Но это сон среднего качества – недостаточно глубокий и счастливый, чтобы забыть, что существует весь остальной мир...

Он был прав. Но само возвращение в Париж всегда было праздником. Так бывает с износившимися супружескими парами. Первые два-три дня после разлуки наполнены радостью, затем сквозь некрепкую новизну проступает знакомая скука и еще более знакомое раздражение. Жизнь опять невыносимо тащится мимо, зря, впустую.

Хорошо, когда городской пейзаж по-настоящему мерзок, когда улица похожа на окаменевшую издевку, а площадь – на гигантский отвердевший плевок. Тогда и чемодан собирать не надо – вызывай скорую и проси, чтобы вместо госпиталя отвезли на аэродром.

Но Париж был отвратительно красив.

Ким совершенно забыл про сестер Мило, но однажды вечером, играя пару в Люксембургском саду, краем глаза увидел ведущую за рога велосипед Дэзирэ. Она была в чем-то легком светлом, ее волосы падали на голые загорелые плечи и спину. На следующий день он отправился в кафе на улицу Ваван и просидел на террасе до вечера.

Он вернулся и на следующий день, завтракал и пил кофе, дотянул до пяти вечера, пропустил следующий и опять с Ньюзвиком, Либе и томиком Кавафиса просидел целый четверг. Злясь, опиваясь кофе и болтая с уже привыкшим к нему гарсоном о политике, слабосильном поле и японских туристах.

В пятницу он вернулся на корты Люко. Было жарко, ветер закручивал мини-смерчи рыжей пыли, пахло цветущей липой, нагретым гудроном кортов и мочой пони, которые по тенистой аллее лениво возили восторженно-перепуганных карапузов.

Он проигрывал Теду, огромному розовому австралийцу, лупившему с дикой силой куда попало: худший вариант партнера. Хлопком ракетки подбирая мяч возле сетки ограды, отирая рукавом горячий пот со лба, он вдруг почувствовал, что на него смотрят. Он поднял глаза: устроившись в двух креслах, полулежа в одном, положив ноги на другое, в легком, почти не существующем платье сидела Дэзирэ и ела черносмородиновый шербет.

Он подобрал второй мяч, отправил его в карман шортов, промокнул мокрую ладонь рыжим ворсом. Ракетка описала петлю. Аут. Раскрутив спираль второй, зло наваливаясь на мяч, чувствуя хлесткое продолжение удара в кисти, еще не увидев, он знал – сетка. Ища слова, поворачиваясь, смущаясь чему-то неясному, чувствуя прилипшую ко лбу прядь волос, допроявляя сетчаткой впитанный образ, он понял – не она.

Один мяч был совсем полудохлым, он отправил его в угол, где уже скопилась стайка сухих листьев и длинных стручков катальпы. Взявшись за сетку двумя руками, он посмотрел на нее в упор. Рот, перемазанный шербетом, под просвечивающим платыцем маленькие груди, взгляд такой же сладкий и тающий, как и шербет, который почти черными каплями пачкал песок.

– Что вы делаете позже? – спросил он, немного задыхаясь.

– Если бы я знала... – ответила она, моргая. – А вы?

– Если бы я знал, – скорчил он улыбку. – Как вас зовут?

– Китри, – сказала она, высовывая толстый пупырчатый язык и слизывая подтек черносмородинового.

– Make up your mind! What sort of balls are you playing? ¹ – прокричал откуда-то сзади Тедд.

На той же неделе он ужинал у приятеля на улице Четырех Ветров. Спускаясь по лестнице (свет погас и вспыхнул вновь), он услышал смех, собачий визг и на площадке первого этажа лицом к лицу столкнулся с Дэзирэ. Высокий парень в белом с засученными рукавами таксидо ² и в драных джинсах протягивал зажигалку миловидной круглоли-

¹ Здесь: Реши в какую игру ты играешь? (англ.)

² Смокинг (америк.).

цей толстушке, Дэзирэ снимала ошейник с задравшего морду лабрадора.

– Э... ба!.. – сказала она. – Сюрприз! Вот где можно встретить знаменитого фотографа...

– Привет!

Он поцеловал подставленную щеку, вторую, потянул ее к себе – у русских трижды...

– Правда, ты мне говорил. Терираза. Познакомься: это Жером... Селин... Выпьешь рюмку? Мы сидим у Ирен, это ее берлога.

Берлога была уютной трехкомнатной квартиркой. Немного ретро: тяжелые шторы, потертые ковры, семейное стекло, высокие шкафы. В гостиной – раскрытая “ямаха” и огромный стеллаж компактных дисков.

От Ирен шел все тот же крепкий запах туберозы, у нее были взмокшие ладони, дурацкий бант в волосах...

Он выпил бокал холодного “шардонне”, отказался от второго и ушел, унося на клочке бумаги номер телефона Дэзирэ.

По дороге домой он мучился вопросом: Жером?

Она сказала, что до вторника занята. До вторника было пять дней. Боже, он ненавидел ждать, и он так давно не мучился ожиданием! Это был кошмар. Он был зол, раздражен, он был счастлив.

Это было так странно! Он давным-давно забыл и этот биологический восторг, и эту беспричинную радость, распиравшую его теперь. Внутри него шла какая-то химическая реакция. Что-то шипело и пузырилось. Он по-идиотски улыбался, нес чушь, одновременно замечая, что внешний мир

выглядит гораздо лучше, чем прежде. Зелень листы стала еще ярче, оконная герань – еще кровавее, небесная синька догнала по интенсивности средиземноморскую. Его энергия утроилась. Он успевал за день сделать все то, на что раньше требовалась неделя. И он не понимал – почему?

Почему – она? Почему вдруг эта девочка-подросток? Что в ней? И почему так внезапно, словно что-то где-то замкнуло, закоротило, зашипело лиловыми искрами? Откуда этот первоначальный заряд? Разряд?

Умом он понимал, что она вся – наборот, все то, что ему противопоказано. Ей нужны вечеринки, дискотеки, поездки на море, лыжные курорты, экзотика, необычайное, ей нужно тратить избытки адреналина, ей нужна скорость, спортивный БМВ, дождь в лицо...

Он спохватывался. Мрачнел.

– С какой стати, – упрекал он себя, – ты думаешь о ней, как будто она твоя? А что если у нее на тебя не стоит? Если ты для нее стар? Если она вообще влюблена, предпочитает рыжих, если, в конце концов, она любит какую-нибудь толстую уса-тую аргентинскую гадалку?

Бессонница коротала с ним ночи. Каждый вечер, каждую ночь, все эти пять ночей он представлял себе ее то с одним, то с другим типом. Воображение крутило дешевую порнягу. Дэзирэ! В какой-то момент он подумал, что лучше уехать. На юг, в Амстердам, свалить в Грецию. Позвонить ей в октябре, ноябре, быть может.

– Я здесь недалеко, в кафе, спустишься выпить стаканчик? У меня час до самолета.

Она жила не на Ваван, а на улице Богоматери Полей, ближе к бульвару. Под раскаленной крышей в ее просторной студии все было, как в деревенском доме: деревянный потолок, балки чердака, разлетающиеся летние занавески в крупных цветах, корзинки с лавандой, гирлянды бессмертника, старинный светлого дерева комод, такой же стол, книжные полки. Кровать была разобрана, и на полу, рядом с подносом, на котором в чашке с недопитым кофе плавала, дергаясь, пчела, валялся раскрытый журнал с Ирмой верхом на Вальдхайме: антрацитно-черный под горло купальник, белая чалма и тяжелая серебряная тунисская серьга, к которой прилипло крошечное ртутное солнце.

Ким лежал на полу, на мягком ворсе ковра. Из всей одежды на нем уцелел лишь белый носок на левой ноге. Дээз, стоя в проеме окна, не отрываясь, пила воду из литровой пластиковой бутылки: классический контражур, мягкий силуэт, тлеющий по контуру золотым, жидкое, как азот, свечение ауры. Все произошло быстро и без слов, так, как он и хотел. Так, как, теперь он это знал, хотела и она. Сначала – отделаться от желания, что потом – неизвестно.

Зазвонил телефон, она перешла к столу, взяла трубку.

– Я тебе перезвоню, – сказала она, отворачиваясь. – Ты дома?

Повесив трубку и не глядя на него, она вышла на кухню и вернулась с тарелкой персиков. Стянув с кресла купальный халат, бросила на пол возле Кима и села, подвернув под себя ногу.

Персики были горько-сладкие, сок тек по его подбородку, шее, и она склонилась над ним, слизывая липкие подтеки. Он притянул ее к себе, ее кожа все еще была влажной, ее волосы щекотали, несколько секунд она смотрела на него серьезно, потом, словно согласившись, выдохнула, сдалась и, опустившись, прижалась, подогнала свое тело – от лодыжек до шеи.

Через час с мокрыми волосами, с подтеками пота на блестящей коже они глупо хихикали, лежа на спине, потягивая холодный сотерн, вспоминая пляж, Джербу, обед в «Абу-Навасе» и ночное купание.

Ближе к вечеру, но на следующий день, они спустились поесть. От асфальта поднимался пар – весь день шли короткие, перебежками, солнечные ливни, но они не знали этого: они заснули часов в десять утра и проспали весь день. Теперь все было, как после болезни – меланхолия узнавания, слабость выздоровления... Весь мир словно надтреснул, шелушился, с него слезала старая кожа...

Возле входа в сад они поймали такси и через десять минут сидели у окна на втором этаже крошечного ресторанчика в пассаже Веро-Доде. Хозя-

ин, начинающий полнеть и лысеть, вдребезги голубой Бернар, принес меню.

– А где Наполеон? – спросил Ким.

Бернар, не ответив, ушел на кухню. Его напарник, Жан-Клод, двухметровый корсиканец в длинном фартуке и с колпаком на голове, появился в дверях кухни. Поздоровавшись, он подвинул стул и осторожно присел.

– Не спрашивай его про Напо, – сказал он Киму. – Он погнался за кошкой в Бют-Шомон, свалился с обрыва и свернул себе шею... Бернар до сих пор не пришел в себя.

– Когда это случилось? – Ким, нагнувшись, поднял соскользнувшую на пол салфетку.

– Месяц назад. Я вам советую телятину с белыми грибами, – сказал Жан-Клод, вставая и пряча за спину огромные руки.

Дэзирэ кивнула, соглашаясь.

– Что будете пить?

– Помроль? – спросил Ким.

– Шато-Лафлер? Семьдесят восьмого? Цена малость кусается, но если вы празднуете какую-нибудь годовщину... Не пожалеете...

– Это наш случай, – улыбнулся Ким и посмотрел на часы. – У нас как раз юбилей... Двадцать четыре часа знакомства.

Дэз толкнула его под столом коленом.

– О! – расплылся от счастья Жан-Клод. – Двадцать четыре часа иногда важнее, чем двадцать четыре года! Бегу в погреб!

– Не стоило ему говорить? – спросил Ким.

Вместо ответа она положила руку на его запястье. В окно был виден грязный стеклянный свод пассажа и темные невымытые окна напротив.

– Наполеон, Напо был старой толстой длиннющей таксой, – Ким поднял ее руку к губам. – Он лежал где-нибудь под столом и выбирался лишь тогда, когда кому-нибудь приносили тарелку утинового филе с медом и фигами. Единственное, что он кланчил у посетителей...

Он осторожно поцеловал ее ладонь. Он чувствовал ее отчуждение.

– Ты грустишь? – он заглянул ей в глаза. Она опустила голову.

– Я все еще сплю... – улыбнулась Дэз.

Что-то мучило ее.

По лестнице поднималась веселая компания молодых немцев.

Жан-Клод принес вино и два огромных дегустационных бокала.

– *Belle robe!*¹ – сказал Ким. Вино было золотисто-терракотового цвета.

– Дайте ему надышаться! – посоветовал Жан-Клод и, прихватив меню, отправился к немцам.

– Мой отец на три года старше тебя, – наконец выдала Дэз. Ему сорок семь...

– И это тебя и тревожит?

Ким осторожно, на четверть, наполнил ее бокал.

– Нет, но ты похож на него. Физически.

– Тебе это мешает?

¹ Гастроном. жаргон, здесь: вино замечательного цвета (*фр.*).

– Я его ненавижу...

– От чего умерла твоя мать? – меняя тему, передавая ей хлеб, спросил он.

– Сначала у нее были приступы МДП¹. Когда она начинала покупать три пары туфель в день, тонну косметики, ворох белья и по два костюма в неделю, мы знали, что она входит, как она говорила, “в фазу затмения”. Ее затягивало под поезда метро. Однажды, когда на Конкорде мы ждали поезда, она так вцепилась мне в рукав блузки, что надорвала его... Боялась, что ее швырнет под колеса... Закрывала окна на ночь в спальне – была уверена, что выбросится во сне. Не могла перейти через мост – бледнела, покрывалась потом... Было страшно смотреть. К счастью, эти ее “затмения” длились недели две-три и повторялись нечасто.

– Смена сезона?

– Весной и осенью, да... Но вообще-то у нее был свой ритм. В остальном она была, как все остальные.

– И?

– Они были с отцом в Авариазе, катались на лыжах. Он – отличный лыжник, даже был в каких-то сборных... Ты знаешь Авориаз?

– Провел как-то неделю. В... восемьдесят первом, кажется...

– Помнишь скалу, на которую поднимается из Морзина фуникулер? Там обрыв метров...

– В двести?

¹ МДП – маниакально-депрессивные состояния

Она помолчала. Он заметил, как сквозь загар проступила бледность.

– Обрыв загорожен сеткой, там рядом детская трасса, горки... В тот день какой-то тип прыгал с дельтапланом с обрыва, в сетке был освобожден проем. Было много народа, все смотрели, как он ловит ветер крылом, готовится скользнуть вниз. Когда он уже парил над долиной и все взгляды были устремлены на него, мать сделала тоже самое – оттолкнулась и поехала по его лыжне, к обрыву. И тоже – полетела, но – без крыльев...

Ким не знал, что сказать.

– Отец был в горах, он всегда спускался последним, уже в темноте. Так что он узнал обо всем лишь вечером. А нам домой позвонил лишь через день... Голос у него был такой обычный, ровный, домашний. Я не могла поверить не тому, что он говорил, а тому, что это он у телефона...

Они помолчали.

– Прости, – сказала она, – это, наверное, не лучшее время для подобных воспоминаний.

– Это моя вина, – сказал он. – Я задал вопрос.

– Тебе никогда не хотелось вернуться в Россию? – теперь она меняла тему. – Тебя, наверное, все время об этом спрашивают...

– Во сне. Много раз. Я там оказываюсь автоматически раза два в неделю. Без визы.

– А в жизни?

– Помнишь про “дважды войти в одну и ту же реку”? Время – это река. Той страны уже нет, она утекла.

Было что-то бесконечно меланхоличное в их чувствах. Какая-то довременная разлука, прощание. Перерасход адреналина? Потолок высоты?

– Как Ирен?

– В Антибе. На фестивале. Ее божество играет – Хорас Сильвер.

– Ты не любишь джаз?

– Так... Больше классики. Я тебе должна что-то сказать...

Он положил вилку.

– Я беременна.

– Уже? – автоматически выдал он и тут же пожалел. – Прости. Твой бой-френд?

– Я не знаю, – сказала она. – Быть может, Хаппи...

– Хаппи? Хаппи! – Ким чувствовал, как глаза его лезут из орбит. Его перекосило, как от стакана уксуса.

– Мы виделись в Париже. Перед тем, как он улетел. Но я не уверена.

У Кима тряслись руки. Ему стало жарко.

– Этот джанки!¹

– Он лучше, чем ты думаешь...

– Вот почему, когда я тебя спросил насчет пилюли, ты сказала, что это не имеет значения?

Она не ответила.

Сквозь неожиданную волну ревности до Кима медленно начало доходить, что он не имеет на нее никакого права. Что она так же свободна, как и он.

¹ Наркоман (англ.).

Что она может в любой момент встать и уйти. Из ресторана. Из его жизни. Что единственное, что они могут сделать, это вместе согласиться на общую несвободу...

– Быть может это меня не касается, но что ты собираешься делать? – сказал он деланно непринужденным голосом.

– Конечно, это идиотизм, но я бы хотела, – сказала Дэз, все еще не поднимая глаза, – чтобы это тебя касалось.

– О, Дэз, – сказал он, опрокидывая бокал, задирая скатерть, ища соль, через стол притягивая ее к себе, чувствуя, как смешиваются вместе ненависть и нежность. – Дэз...

– У тебя рукав плавает в соусе, – хмыкнула она, то ли плача, то ли смеясь...

– Ты знаешь, – сказала она ему гораздо, гораздо позже. Они стояли на пустой зимней площади перед собором Св. Стефана в столице шоколадных тортов и вальсов. – Ты никогда в жизни не сказал мне «люблю»! Впервые ты произнес это слово, когда мы с тобой ругались. Расходимся... Вот тогда ты и сказал: “Je ne t’aime plus!”¹ И я была счастлива! Задним числом ты все же сказал: «Я тебя любил, это теперь я тебя не люблю». Поэтому мне было легко. Я знала, что все начнется сначала...

¹ Я тебя больше не люблю! (фр.).

Он смотрел на заснеженную брусчатку площади. От самых дверей собора до пустой стоянки фиакров все было покрыто осколками бутылок из-под шампанского и дешевых бокалов. Новый Год. Пей и бей!

– Я бы пропустил стаканчик горячего вина, – сказал он, подставляя лицо снегу. Длинные белые нити, закручиваясь, уходили высоко в черное небо. На улице не было ни души. – Где-то здесь недалеко есть подвальчик: мрак, облезлые стены, старые афиши и старая же музыка. Как ты любишь. Он взял ее под руку.

– Подожди! – остановила она его. – Поцелуй меня.

Ее лицо было горячим под этими снежными струями. Горячими были ее губы и ее грудь под мехом распахнутой шубки. Снег таял у них на щеках, на лбу, они чувствовали его пресные щекочущие ручейки на губах, шее, за воротом.

– Пойдем! – наконец, задохнувшись, сказала она. – Я хочу быть пьяной. Я счастлива сегодня. Ты знаешь, я столько раз была счастлива с тобой. И каждый раз по-разному. Но когда ты меня мучаешь, когда я сама мучаю нас, мое несчастье всегда одинаково...

– Ты случайно не читала Толстого последнее время? – хохотнул он и, обнявшись, они побрели к проему полутемной улочки под еще сильнее повалившим крупным теплым снегом.

Пассажиры спали. Лишь один, с голубым свечением на лице, уткнувшись в компьютер, бодрствовал. Ровно, почти неслышно, гудели моторы. Время от времени боинг трясло, и тогда двигатели оживали, в проходе появлялся стюард, исчезал, возвращался с бутылкой минеральной, склонялся над чьей-то седой головой.

“Je ne t’aime plus...”¹

Эктохром их рая выцвел не сразу.

Есть такие удачные песни – простенький их текст кажется наполнен тайным смыслом, а мелодия действует прямо на артериальное давление и количество гемоглобина в крови. Непонятно почему, вернее, непонятно как, но эти песни вызывают ощущение счастья и грусти. В них слышен шелест листвы ночных садов, хруст гравия на дорожке, спускающейся к морю, быть может, приглушенный смех, мягкий стук дверцы автомобиля, чье-то с ритма сбившееся дыхание...

Кажется, что такие песни складываются сами по себе, в них нет ничего натужного, нарочитого, надуманного. Скорее всего, и слова, и сама мелодия уже были где-то вовне, существовали, и автор просто нашел эту песню, как находит незадачливый паренек тяжелый перстень в мокрой после ливня траве огромного старинного парка.

¹ Я тебя больше не люблю! (фр.).

И парк, и асбестово-синий замок, твердо стоящий в конце прямой, пирамидальными тополями засаженной аллеи, были арендованы на уикэнд бандой знаменитых рокеров, укативших утром прямым то ли в Японию, то ли в Австралию...

Такой удачной песней и была их совместная жизнь в те первые два года. По-парижски деревенская, левобережная, вестимо, легкая, на живую нитку сшитая, вся она была написана в счастливом и меланхоличном ми-бемоль.

По утрам, если они ночевали у него, на Турнефор, их будила канарейка консьержки. В холодные солнечные дни в ее трелях появлялся ржавый металлический скрежет. Летом же она неистовствовала так, словно с тридцати трех ее перевели на семьдесят восемь оборотов. Булочная была за углом на Муфтар и, пока свирепо шипела электрокофеварка, Ким успевал сгонять за круассанами. Они пили кофе в постели, во дворе горланило чье-то радио, скребла метла, с остервенением вгрызалась во что-то сыпучее дрель соседа... Раскрыв рот и глядя в стену, Дэз пыталась припомнить сон.

– Китаец, – наконец выговаривала она. – Помнишь хозяина ресторанчика на улице Горы Святой Женевьевы? Я его вижу в зеркале. В большом старом зеркале. Я где-то у него за спиной. Он очень серьезно режет опасной бритвой на ломтики папайю. К чему бы это? И в зеркале меня нет!

Если же они просыпались у нее, на Богоматери Полей, он каждый раз испытывал ощущение, что проснулся где-то в деревне. Тяжелые деревян-

ные балки потолка, скрепленные коваными скрепами, беленые стены с картинами в деревянных же рамах, эти ее цвета спелого персика, в крупных цветах занавески...

Среди картин, которые она в свое время забрала из спальни матери, была нежно голубая акварель, сквозь которую пророс лес белых корабельных мачт небольшого порта, кирпичная сангвина марокканского городка, спрятавшегося за стены крепости, и женский портрет карандашом.

В большом, в полный рост, зеркале с облупившейся позолотой рамы отражались угол тяжелого комода и спинка из такого же орехового дерева. Над креслом, обитым светло-голубым плюшем, висел большой венок засушенных чайных роз. И мебель, посуда, все эти увесистые чашки, тарелки и соусницы были семейными, откуда-то из Отана, из Оранжа, от бабушки или тетки, от одной из провинциальных клановых фей, которых у Дэзирэ была тьма-тьмущая.

Поэтому-то, когда он просыпался у нее, ему и казалось, что выгляни он в окно, и налево появятся недалекие заросли дрока, холмы, поросшие вереском, а прямо – невысокие коренастые сосны, за которыми – золотая рябь моря.

Но вместо морского прибоя с бульвара доносился прибой автомобильный, а за окном, как с переводной картинки, плотный туман сползал с отсыревшей за ночь улицы...

Лежа в постели, чуть разлепив веки, он наблюдал, как в коротком розовом халате она бродит по

комнате, зевает, вдруг застывает у зеркала, смотрит на себя, как на чужую, корчит рожу отражению и начинает собирать на стол: роняет ложку, потом салфетку, исчезает за стеклянной дверью ванной, возвращается голая с полотенцем на голове, садится в изножье кровати, опять зевает, виновато улыбается и, наконец, сдавшись, валится рядом.

Их любовь утром была совсем не похожа на ночную. И, если это было на его территории, колелась хлебными крошками, а если у нее – происходила под шипение медленно, но неизбежно выкипающего кофейника.

Он работал десять дней, от силы две недели в месяц. Студийной работы было мало, в основном это были репортажи, но когда ему нужно было ателье, он платил хипповатой шестидесятилетней фройлан Аренд за сто метров белых стен и холодильник, полный “хейнекена”, в тупике возле метро “Алезия”. Рита Аренд прожила большую часть жизни в Африке, выпустила с дюжину книг, но белых людей не снимала.

Дэз возвращалась из Сьянс По ¹, куда уговорил ее поступить отец, часа в четыре. Иногда Ким поджидал ее в небольшом кафе на Гренель, и они шли пешком через Сан-Сюльпис домой, останавливаясь раза два на пути: выпить еще одну чашку кофе, купить у Мюло un macaron de chocolat ² или же – две ветки лилий Кассабланка в цветочном на

¹ Сокращение от Сьянс Политик – Институт Политических Наук (фр.).

² Миндальное пирожное с шоколадом (фр.).

Распае. Три раза в неделю она отправлялась в танцевальную школу. Дважды посещала бассейн. Он гонял в теннис иногда с Борисом, чаще с бразильским приятелем, который играл на порядок, на два выше и никогда не давал Киму больше трех игр.

Большую часть его времени сжирали редакции и агентства. Нужно было заскочить на Елисейские к Жан-Клоду, разузнать что к чему, рассказать анекдот, предложить несколько тем, договориться отобедать в среду. Этажом выше в таком же, как у Жан-Клода, кабинете в клубах табачного дыма в огромном кресле как всегда полулежала когда-то прекрасная Мари-Элен. Она сама рассказывала анекдоты, предлагала сюжеты, прикуривала одну от другой, сыпала пепел на пластиковые конверты слайдов, гоняла секретаршу за кофе, швыряла в угол новенький номер “Ярмарки тщеславия”, доставала из пачки новую сигарету, вдруг звонила и заказывала столик у Фукет’с.

– Пойдем, перекусим?

С Полей – на Лористон, из агентства – в журнал. Нужно было держать нос по ветру, доставать дешевую пленку, шляться по распродажам, выходить на знаменитостей, десять раз в день звонить домой, проверять автоответчик.

Работы было мало, многие журналы закрывались, издательства исчезали, мир из устойчивого, надежно-горизонтального вдруг превратился в наклонный, и все съезжало куда-то вбок, вниз, к дьяволу...

И все же работа была, его альбомы переиздавались, старые снимки до сих пор приносили проценты и жаловаться было не на что. Разве что на консерватизм местных редакторов: если ты был военным репортером, ты должен был оставаться военным репортером цвета хаки. Если ты снимал красоток в купальниках, ты не имел права на черно-белые снимки пригородов Рио. И если ты выставлял серию портретов русских танцовщиков в галерее возле Бобура, все сокрушались, рассматривая в “Match” твой репортаж о курильщиках крэка в Чикаго.

Когда и как грациозная юная фея превращается в нахмуренную мрачную ведьму? Может быть, и не в ведьму, но в упрямую, пуленепробиваемую, рассеянную, истеричную идиотку? Он отвернулся на мгновенье, а когда повернулся к ней – прежней Дэз не было. Был злой оскаленный волчонок.

– Je ne t’aime plus...

Или все не так?

Они возвращались в Париж из Лаболя. Вагон сверхскорого был полупуст. Она рассеянно смотрела в окно. Густо, как в мясной лавке, кровоточил закат. Голые сады – дело было в конце февраля – по колено стояли в проточной воде тумана. Мелькнул замок с задраенными глазницами. Мельница. Охнув, проскочил встречный... Он читал что-то, но

не мог сосредоточиться. Наконец он понял, что ему мешает. Дело было в ней. В Дэзирэ.

Он посмотрел на нее сбоку и ужаснулся. Это была другая женщина. Незнакомая. С поджатыми губами. С отрешенным взглядом. Лет на пять старше.

– Ты спятил? – сказал он сам себе. – Это же она, твоя Дэзирэ! You made love to her two hours ago! ¹

Он вдруг вспомнил, что их прощальная гостиничная любовь была вялой, что он списал ее неучастие, ее обмякшую податливость на бессонницу (всю ночь свирепствовал шторм), до него вдруг дошло, что в последнее время она была менее доступной, уклончиво-прохладной, ссылалась на боль в пояснице, на возможную инфекцию...

– Ты сам знаешь, нынче вода в бассейнах – резервуар бактериологического оружия...

Дэз! Ему стало не по себе.

Он взял ее руку. Рука была теплой, нежной. Она повернулась к нему, придвинувшись, потерлась щекой о щеку.

– У, колючка небритая, кактус мексиканский...

Что за бред! Ее большеротая ласковая улыбка, ее теплый расфокусированный взгляд. Девочка-женщина. Хулиганка. Хохотушка. Придира. Проказница. Плакса. Соня. Сладстена. Его Дэз. Что ему взбрело в голову?

Она сжала его руку и опять отвернулась к окну. Темнело. За перепаханым полем к ферме полз,

¹ Ты любил ее два часа назад! (англ.).

шевелия усами фар, пикап. Мелькнула станция с тремя мутно-оранжевыми шарами лампионов. Мост. Мелькнул по контуру из черной бумаги вырезанный городок: крыши, карнизы, церквушка.

Он снова посмотрел на нее. И снова не узнал. Нижняя губа была закушена, взгляд, уставленный в окно, слеп. Теплая ее ладонь лежала в его руке, как мертвая, остывающая птица.

В апреле у него было два репортажа. Пакистан. Перерыв в четыре дня. Никарагуа. Он вернулся полуживой. Кишечная инфекция. Плюс – радикулит. Левое плечо тоже. Межреберная невралгия. Туда же. Полный набор. Сравнялся с Борисом! Пить не мог – сводило кишки. До этого он летал на чистом виски. Боинг 747 – на керосине, а он – на скотче. В Пакистане он отоварился крепкой забористой травой. Вело с первой затяжки. Боль становилась нестрашной, плюшевой... Несколько дней он отлеживался. Пил антибиотики, какие-то порошки. Инфекция прошла, но аппетит отбило надолго.

Он съездил к знаменитому костоправу. Старик Боль-в-Боке засунул ему палец в ухо, покрутил, надавил, затем, уложив на жужжащий электромотор стол, начал мять и катать, что твое тесто для воскресной лозаньи... Все закончилось плотными объятиями и двойным нельсоном. Хряк... Голова кружилась, но шея поворачивалась не хуже кованого петуха на крыше городской ратуши. И трехдюймовый нож, целую неделю торчавший меж лопаток, был вынут, вытерт и спрятан неизвестно

куда. Костоправ чеков не брал. Ким выложил четыре сотни. Поблагодарил. В дверях, пожимая руку, Боль-в-Боке сказал:

– *Laissez-vous aller!* Вы слишком напряжены! Это же бетон! – он нажал чуть пониже загривка. – Конечно, с двойным сколиозом риск всегда при вас: это же не позвоночник – змеюга, буква S! Но дело не в сумках и кофрах... Забудьте... Дело в напряжении. *Il faut se laisser aller!*¹ Вы меня слышите? *You should let go!* Тогда все пройдет! Исчезнет!

Но ни с английского, ни с французского Ким не мог перевести это выражение. Что это? *Relax?*² Нет. *Laisses aller...* Он не мог это нащупать. Ни снаружи, ни изнутри. Ни в теле, ни в языке. Он знал, что это связано с прошлым. Напряжение. Напряг. Как говорил один приятель-самбист в Москве:

– Отвесь нижнюю челюсть! Расслабься!

Наверное, молекулы в русском теле, кроме обычных связей, сопряжены еще чем-то. Фатально передовым. Прогрессивно атомным...

Когда он выздоровел и кончил бредить, потому что то был бред, а не пятый дорсальный и не воспаление слизистой, вызванное *saprophytes habituels*, то было желание не думать об увиденном на дорогах Пешавара и в горных деревушках Никарагуа – когда он очухался от двух этих неудачных

¹ – Расслабьтесь! (*фр.*).

– Нужно расслабиться! (*фр.*).

² – Вы должны (отпустить) расслабиться!

– Расслабиться? (*англ.*).

командировок, он понял, что с Дээз что-то произошло. Произошло окончательно. Она больше не двоилась. Не проваливалась в черную дыру. Теперь она была открыто враждебной. Язвила. Исчезала, ничего не сказав. Ходила непричесанная, постоянно что-то жуя. Огрызалась...

Нет, судя по тампонам в мусорной корзинке в ванной, она не забеременела. Но ее стало заклинивать на чепухе. На чем-нибудь совершенно абсурдном. На том, что ему не нравился Жорж Перек. Лешюш. Или – Роллинг Стоунз. Однажды он что-то нелестное сказал о сантехниках. Она взорвалась. Он не прав, он презирает простых людей.

– Чушь, – отвечал он.

Он провел полжизни среди простых людей. Он вкалывал вместе с ними в государстве простых людей...

– Ты циник, – парировала она. – Тебя раздражают эти проло, почему?

– Потому что они принадлежат к узкой касте пролетариев, которые могут шантажировать, брать за глотку людей... Они появляются в тот момент, когда ты стоишь по щиколотку в дерьме и не знаешь, чем заткнуть ошалевший унитаз. В этот момент ты готов заплатить сколько угодно, лишь бы это прекратилось. То же самое происходит и с остальными профессиями, связанными с небольшими бытовыми катастрофами – с электриками, слесарями, стекольщиками. Они все берут в несколько раз больше разумного, и мы им платим именно из-за паники, из-за желания отделаться от неудобства,

от бытового кошмара... Я им плачу, но я не обязан их любить!

– Мизантроп, сноб и циник, – таков был ее приговор. Причем – приведенный в исполнение. Но sex. В такие моменты она буквально леденела, и от нее шло не привычное тепло, а нечто пугающее, злое.

Еще зимой он понял, что она была ревнива, но он не давал ей поводов для ревности. Да, он работал с профессиональными красавицами. Съёмки требовали моря, солнца, экзотических пейзажей. То был Мадагаскар, Филиппины, западное побережье Африки, Сент Морис, по крайней мере – Марокко... Возвращаясь, он находил вместо обычной Дэзирэ дикого лисенка, готового кусаться по любому поводу. Но в те времена дня через два-три она приходила в себя.

Несколько раз он пробовал брать ее с собой, на съёмки. Но это было еще хуже. Она была подчеркнута одна. Не приходила на ленч. Валялась днями в постели с головной болью. Падала с лестниц или заболела какой-нибудь местной лихорадкой. Всеми силами она старалась быть несчастной, старалась заполучить его обратно, пыталась выкрасть из гарема манекенщиц.

Он взрывался. Это было так глупо, так по-идиотски примитивно... Она соглашалась с ним (*Tu penses, que je suis si bête?*),¹ кусала губы, молча

¹ Ты думаешь, я такая дура? (*фр.*).

рыдала, сморкалась в гостиничное полотенце. Они проводили бурное перемирие, и через два дня все начиналось сначала: глаза, избегающие его глаз, 37 и 7, снотворное, которое она принимала в час дня, запиная бокалом шампанского, или же – ее исчезновения, начинавшиеся как прогулки и кончавшиеся розысками на джипе в компании фальшиво усердных, явно кейфующих местных полицейских...

Он не мог ее снимать. Она это знала. В мире мод были свои жесткие нормы. Конечно, Лиз Моли была божественной красавицей. Ее красота ошарашивала, пугала, но она не вызывала желания. На Элизабет Макби можно было смотреть часами. Наташа Кер Ле Руа могла переменить жизнь любого мужчины, приблизившись к нему на расстояние двадцати сантиметров.

Любую из этих женщин нужно было завоевывать, как город, как страну.

Но он жил без соблазнов. У него была его Дэз, и он впервые испытывал, так по крайней мере ему казалось, непривычное постоянство чувств. Возраст – иногда думал он. Убывающий тестостерон – еще десять лет, и к утреннему кофе добавятся озноб тревоги, щекотка ужаса...

– Паранойя и навязчивые состояния, – уверял Борис, – наше единственное богатство, тайно вывезенное через советскую таможенную. И добавлял, как бы неизвестно к чему: – Легко быть честным с другими... Труднее всего с самим собой.

Он попытался сделать вид, что ничего не происходит, что так всегда и было, ему казалось, что

на солнце наехало небольшое облако, что нужно переждать пять минут, и небо снова будет цвета мечты. Но пять минут прошли. Прошли и пять недель. Их рай прямиком, со всей мебелью, переехал в ад. Хуже всего было то, что его студию на Турнефор затопило – прорвало трубу у соседа, и он жил у нее.

Счастливая песенка в ми-бемоль кончилась. Гремел какой-то дурной марш. Ни военный, ни похоронный, даже не пожарников, а сантехников, ассенизаторов, отловщиков бездомных кошек...

Иногда казалось, что кошмар вот-вот кончится. Он заставлял ее опрятной, аккуратно причесанной, молчаливой, но улыбчивой. Они шли ужинать в какой-нибудь недалекий ресторанчик. Молча ели, словами боясь спугнуть некрепкий мир. Потом молча же возвращались, молча любили друг друга среди растерзанных простыней и разбросанных подушек.

Даже ее обычные вопли, птичьи крики, которые она никогда не в силах была сдерживать, были придавлены этим ее онемением. Они засыпали, обнявшись, но ночью, проснувшись от жажды и ища стакан с водой, он замечал, что она не спит, а утром на первой же фразе она срывалась, и все начиналось сначала.

Ремонт в его студии кончился, он перебрался к себе, и почти одновременно Дэз опять стала Дэз. Словно вернулась из поездки. Словно в ее отсутствие Агентство Двойников присылало нерадивую заместительницу, капризную злюку, провалившую

вступительные экзамены в театральную школу и подрабатывающую случайными заработками...

– Ты меня прости, – сказала Дэз где-то в мае. – На меня что-то нашло. Я даже не знаю, как это назвать...

Она сделала серию анализов. Ей, а уж ему и подавно, казалось, что кошмар был гормональным сдвигом. Но результаты были нормальными, и врач лишь посоветовал ей прекратить пить противозачаточное.

Затем наступило то странное лето... Лил дождь. Париж отсырел, в подъезде пахло плесенью и дезинфекцией. Дэз оставила Сьянс По, не стала сдавать экзамены. Ее тошнило от политиканства, “планетарной диктатуры шестидесятилетних креатинов” и от “всеобщего макиавеллизма”, как она это называла.

Отныне ее интересовал Колин Уилсон, кристаллы, фактор Икс, профессор Судзуки, дервиши, Кеферстан и тайные школы суфистов. Она бредила тамплиерами, раскладывала таро, говорила о магнетизме, мечтала отправиться в Калифорнию и встретиться с Кастанедой.

Она сменила танцевальную школу: тело должно найти свой язык. Теперь этим языком были африканские танцы. Она начала полнеть. Он опять заставлял ее с пачкой печенья в руке, с плиткой шоколада. Она ела механически, не глядя доставая печенье из пачки или отламывая шоколад от плит-

ки. Затем была стажировка в Тулузе. Две недели. Он воспользовался ее отъездом и сгонял в Лос-Анджелес. Health-freaks¹, репортаж для "Lui".

Это было в июле. В начале сентября он стоял возле фото-стенда в магазинчике прессы на углу Ги Люссак и Бульмиша. Какой-то засаленный дядя с воспаленными глазами за толстыми стеклами очков, загородившись спиной, перелистывал третьесортный journal de cul². Ким бросил взгляд через плечо дяди (обычное розовое мясо), перелистал несколько страниц фотожурнала, поежился и, чувствуя, как вдруг заледенело лицо, как дернулся и криво встал на место мир, как зажужжал шмель в правом ухе, встряхнул головой и потянулся на верхнюю полку за номером "Kâma"³.

Он не помнил, как заплатил за журнал, как пересек на красный Бульмиш (хозяин журнального магазинчика, стоя на том берегу со сдачей, что-то вопил ему вслед), не помнил, как нашел в Люко в густой тени деревьев пустую скамейку. Он наскоро перелистал журнал. Не нашел. Попадались лишь идиотские объявления о мазях, улучшающих эрекцию, о китайских препаратах, после приема которых любой столетний паралитик мог осчастливить целую женскую волейбольную команду, наконец мелькнуло название фото-репортажа "Шалунья из пригорода", а затем, на развороте, раски-

¹ Фанатики здоровья (англ.).

² Порнографический журнал.

³ Эрос, любовь (санскрит).

нувшая ноги на две страницы, плохо загримированная, с испуганным взглядом и вымученной улыбкой – Дэзирэ со свежесбритой журавой...

Жирный голубь, переваливаясь, искал что-то под скамейкой. Невдалеке из автобуса высаживались синие военные мундиры музыкантов духового оркестра. Белокурая курносая девчушка, раскрыв рот, смотрела на сидящую на темном стволе каштана лимонницу. Крылья лимонницы моргали.

Он раскрыл журнал опять. На фотографиях поменьше, снятая полтинником, Дэзирэ, изогнувшись скрипичным ключом, плескалась под душем, сползала по атласным простыням грубо задрапированной, явно гостиничной постели и на всех четырех, вывернув голову, гавкала в нацеленный объектив.

Он вспомнил ее неожиданно обриту ю мяу-мяу, турецкую шелковистость, смущение и не совсем вразумительное объяснение:

– В хамаме на улице Розье террористы разведали лобковых непарнокопытных, для которых ДДТ, что твой кокаин...

Через неделю в нежных схватках она кололась, как придорожный репей...

Je ne t'aime plus!

Ступор. Ужас. Желание проснуться.

Объяснение было коротким. Да, она сделала это назло. Нет, ей не нужны были эти пять тысяч. Да, она *s'envoyee en l'air*¹ с фотографом. И с его сыном тоже. И еще с каким-то типом. С типом было

¹ Дословно: Взлететь с кем-нибудь на воздух, совокупиться (фр.).

интереснее всего. До этого нет. Хотя... Один раз. После дискотеки. Когда он был в отъезде. Пошла в отель. Какой-то парень. Какая разница? Датчанин или швед. Отодрал, как козу. Не могла ни сесть, ни... Все равно. Все все равно. Она свободна. Он тоже свободен. Мы что, женаты?

Он попробовал ей не верить. Не получилось. Он знал, это было тривиальным самоубийством любви. Бафф! Меж глаз наповал. Я вас любил. Я вас любила. Стиснутые зубы, побелевшие губы. Вот твой пуловер. Вот твой плащ. Письма? Не беспокойся, консьержка будет пересылать.

Нет, за кого она себя принимает?

– Ради бога, только без рук!

– Я?

– Ты!

– Мало что ли в Париже красивых девочек?

– Ага, и веселых мальчиков?

– Garce!¹ Идиотка! У тебя что, со мной был недобор оргазмов?

Он знал, откуда это берется. Ей хотелось еще побыть молодой проказницей, в которую подряд влюбляются все мужчины. Ей хотелось приключений, восторгов, ухаживаний, свободы. Она не хотела, она тайно ненавидела это новое постоянство отношений и чувств. Но именно об этом он ее и предупреждал в самом начале, в том июле, в том августе, когда она ему предложила переехать к ней.

¹ Потаскуха, блядь (фр.).

Тогда она была уверена в том, что единственное ее желание – быть с ним.

Еще он знал, что она себя за что-то наказывает. За что? Старается изо всех сил стать несчастной. Из-за Ирен?

Он забрал свои вещи. Она швырнула ему его ключи. Он знал, что через неделю она будет реветь белугой, семгой будет реветь, зеркальным карпом! Он знал, что она будет покупать на углу песочные и миндальные, вульгарные эклеры, плитки горького семидесятипроцентного шоколада, слоеные со взбитым кремом и просто развесное сливочное мороженое и будет есть его, стоя с закрытыми глазами у холодильника, сначала ложкой, а потом – пальцами, размазывая по морде маску, слезы и сливки... Он знал, что она будет валиться в постель в шесть вечера, как есть одетая, в свитере, полосатых рейтузах и высоких баскетках, чтобы проснуться за полночь с головой дурной, как после того самого, тунисского красного...

Он знал, что нужно поймать ее возле дома, сгрести в охапку, удержать, как воробья, пока дергается минуту или две, а потом она обмякнет и начнет пускать влагу через глазные и носовые, издавая булькающие и завывающие, а дальше будет легче и проще. Шмыгнет носом, начнет искать клинекс, застыдится совсем по-детски, и злых этих пять атмосфер из нее выйдут.

Главное потом – не напоминать, забыть, стереть белым ластиком...

Но он не мог. И с этого и начался Нью-Йорк.

Было за полночь. За двойным стеклом иллюминатора текла и клубилась мрачная, серебряным свечением наполненная пустыня. Какая-то звезда, нет, скорее планета, сваливала за горизонт. Становилось холодно. Он привстал, пошатнувшись, достал из багажного отделения легкое одеяло. Усевшись, плеснул в бокал виски из собственной бутылки, запил бромазепам и закрыл глаза. За дергающимися веками мутное ничто медленно ползло с северо-востока на юго-запад, с одиннадцати утра на пять вечера. Через левый висок вниз по правую ключицу был всажен ржавый штырь. Старое это железо медленно поворачивалось. При желании можно было бы пойти сблевнуть.

Он сглотнул ядовито-жгучую отрыжку, мотнул головой, ударился о стекло иллюминатора и выругался. Если принять маалокс, пройдет изжога и, быть может, тошнота. Но маалокс нейтрализует бромазепам. А без бромазепама не выжить. Без передовой капиталистической химии мозги начнут бродить, аки дурное тесто, давить на коробочку, выпирать через ушные и глазные. Pourriture...¹

¹ Здесь: гниль (фр.).

Без зепамаброма боинг полетит задним ходом, хвостом вперед, пока не врежется в каменную по- мойку Нью-Йорка.

Она нашла его адрес через фотоагентство. Было второе или третье января. Повальное по- хмелье. В быстро густеющих сумерках валил теп- лый крупный снег. Когда раздался звонок в дверь, он висел на своей “стиральной” – головой вниз. У него не было времени выровнять давление в го- ризонтальной позе, он слишком резко вернулся в вертикальный мир и поэтому, когда открыл дверь, принял ее за часть своего головокружения.

Она была в легком, на парижскую зиму скро- енном, до пят, пальтишке. На голове шерстяная шаль, которую он ей привез из Бейрута, поверх шали – огромная лисья шапка, руки в карманах. Бледное лицо ее было мокро от снега, и он сразу понял, что она боится, как бы он не подумал, что она плачет.

– Пустишь? – спросила она, входя.

Он не знал, что сказать, и автоматически скреб пятерней затылок.

– Я у отца, – сказала Дэзирэ, разматывая шаль. – На Риверсайд Драйв. Он повез Ирен в аэро- порт. Мы провели с ним Рождество. Как ты? Я тебе помешала? Ты один?

Он был один. Он был один с Викки, с Анной, с Кетти и с Мери-Лу. Одиночество его было солид- ным, надежным, почти торжественным. Что ей

нужно от него? Он так хорошо, так мирно висел вверх ногами... Адепты ордена Человека-Летучей Мыши, ультразвука и комариного плова не имеют права встречаться с подветренными француженками. Они должны висеть вниз головой по крайней мере три часа в день...

Кой дьявол тебя принес?!

Они долго сидели в темноте. Так было легче. Она курила, стряхивая пепел в пустую пачку Marlboro. Париж, оказывается, не изменился.

– И Плас де Вож по-прежнему квадратна? – спросил он.

– Я много думала, – наконец сказала она. – Я не пришла просить прощения. Я...

– Я тебя умоляю! Давай не будем!

– погоди... я все же должна это сказать. Когда мы были вместе, в какой-то момент у меня возникло ощущение, будто жизнь кончилась. словно ты меня запер в наши отношения, как в шкаф. Ты понимаешь? Я не знаю, если ты можешь понять... словно твоя любовь меня запирала на ключ... У меня началась паника. Я ни за что не хотела тебя потерять. Тем более – ранить. Потом ты вернулся из этой поездки... Из Афганистана.

– Пакистана...

– Из Пакистана. И ты был совсем чужим. Какое-то время. Две или три недели. Я не помню. И ты пил больше обычного. И не хотел ничего рассказывать... Курил дурь. Без меня. Ты вообще вдруг был без меня. Все, что ты мне сказал, это то, что там что-то произошло. Не знаю, что, но я поняла.

Я чувствовала, что нужно переждать.

– Слушай, если ты собираешь материал для мемуаров...

– Не будь циником. Ты вдвое старше меня. It's too easy.¹ У тебя нет пива?

Он открыл бутылку “вальполучеллы”, налил. Она выпила быстро, как пьют дети после беготни во дворе, сама себе налила второй стакан, пригубила, почти невидимая во тьме, виновато улыбнулась.

– Эта история с отцом. Я знаю, что из-за нее я у тебя искала защиты. Это было несправедливо по отношению к тебе. Я тебе навязывала не твою роль. Я чувствовала себя виноватой. И я хотела любым способом отделаться от чувства вины. Теперь все это не имеет значения... Ты молчишь... Но я буду последовательной эгоисткой. Если тебе это все ни к чему, то мне все это нужно сказать вслух. Вслух – тебе. Даже если тебе это неприятно.

– И этот тип, фотограф, Жан-Франсуа.., я бы ему отхватила регалии садовыми ножницами. Под корень. Это сейчас. Тогда же мне хотелось, чтоб было как можно хуже, как можно грязнее, примитивнее... И так оно и было. Он этим и живет. Пропускает через свою компашку конвейер. Школьник. Идиоток. Претенциозных мечтательниц. Обещает сделать из них звезд. Конечно, я все это понимала. Он теперь на ТВ. Casting. Выбор больше. Власти над – больше. Над дурами. Короче, я

¹ Это слишком легко (англ.).

добилась того, чего хотела. Я уничтожила то, что между нами было. И я очень долго была довольна. Несколько месяцев. А внутри мне было дико страшно...

Он не знал, как, чтобы не слишком в лоб, по лбу, по голове – остановить ее.

– Мы все это уже обсуждали? Не правда ли? – сказал он. – Мне совершенно неинтересно выслушивать все сначала...

– Ким, ты сам знаешь, что ты не прав. Мы обсуждали совсем не это. Мы обсуждали мое блядство, мою ревность, твою божественную возвышенность...

Он встал, взял со стола газету, что-то мягко шлепнулось на пол, скомкал несколько страниц, присев на корточки возле камина, чувствуя сажу на пальцах, подсунул под непрогоревшее полено, добавил щепок, чиркнул спичкой.

Так было лучше. Абсолютная тьма уж слишком хороший экран для трехмерных кошмаров.

Она еще долго говорила. Более-менее повторяясь. Возвращаясь к одному и тому же: безвыходность, замкнутость их отношений, его перемена после Пешавара, отец, ее желание все разрушить. Это была одна долгая жалоба. Плачь по убитой любви.

– Я тебе вызову такси, – сказал он с сжимающимся сердцем, зная, что стоит только сделать полшага, и она будет всхлипывать в его руках.

– О'кей! – ее голос был тих и нежен. – Это все, что я и хотела тебе сказать.

Такси прикатило через десять минут. Он спустился вместе с нею, постоял в дверях. Она поскользнулась около самой машины, но не упала. Хлопнула дверца, и густой мокрый снег через каких-нибудь три метра напрочь заштриховал желтый кеб.

Он все же выбрался из кресла и, шатаясь, добрался до уборной. То, что он увидел в зеркале, было почти смешно. Такие маски носят актеры кабуки. Его маска одеревенела, и сквозь нее проросла щетина.

Два пальца в горло. Щекотка, от которой рвет. Его корчило, дергало, но он лишь сплевывал нечто розовым. Самолет тряхнуло, и он мягко въехал лбом в собственное отражение. В ушах звенело, рука, которой он держался за поручень, мелко тряслась.

– Вспомни, – сказал он сам себе, – что-нибудь такое, отчего гарантированно выворачивает... Первую любовь, армейскую кирзу, родинуматьеетак... Сколько разных полезных вещей можно сделать двумя пальцами... Заделать знак победы, победить хроническую фригидность, выколоть глаза... Он сполоснул пальцы, наклонился и стал пить тепловатую воду. После третьего или четвертого глотка его наконец достало. Хлынуло через край, аж через носоглотку. Вторая и третья волны были помельче. Он высморкался, вымыл лицо. Плеснул в ладони из большого флакона французского лосьона, растер, провел по шее. Стало полегче.

Он вернулся через спящий салон, подняв подлокотники, устроился полулежа в креслах. На какое-то время вырубился. Медленно всплыл. Нужно было восполнить выблеванный бромазепам. Он принял четвертушку, запил глотком “обана”. Пошарил в кармане, ища жвачку. Так оно действует еще быстрее.

В Пешаваре у него украли сумку с коротковолновым сканером сони и тремя блоками эктахрома. В Пешаваре он подхватил какую-то кишечную инфекцию и не мог ничего есть. В Пешеваре он кончился как фотограф.

Он возвращался с окраины, из лагеря беженцев. Розовая пыль дрожала в закатном воздухе. Пахло гарью костров, свежее испеченными лепешками, бензином. Из недалекого барака трое вооруженных людей, два стройных бородача и коренастый подросток, вывели пленного. Он был средних лет, с мясистым лицом и странным женским тазом. Его голова была опущена и моталась из стороны в сторону. Ким не мог определить, какой он был национальности. Завидев человека с фотосумками и двумя камерами на груди, все трое повернулись к нему.

– American? – спросил один.

– French... – ответил Ким.

– You have cigarettes? American cigarettes? ¹

¹ Американец? Француз...; далее: Сигареты есть? Американские сигареты? (англ.).

Он достал пачку “кента”, угостил их. Со странной гримасой один из бородачей взял сигарету и для пленного, зажег и сунул ему в зубы. Затем двое постарше сели в развалившийся “шевроле” и уехали.

Подросток, подталкивая пленного укороченным “калашниковым”, повел его к зарослям пыльного лоха. Ким шел сзади. Тамариск сухо цвел на обрыве каменной площадки. За площадкой был обрыв метра в три. Внизу валялись разбитые бутылки, какой-то хлам, ржавое велосипедное колесо. Когда пацан, чуть приподняв ствол автомата, отступил назад, он оказался на расстоянии шага от Кима. При желании достаточно было его толкнуть, и он полетел бы вниз, быть может, сломал бы ногу или вывернул шею. У Кима был выбор, но он автоматически поднял “лейку” к правому глазу.

Диафрагма была на 5,6 при выдержке в 250. Он перевел диафрагму на 4, и выдержка удвоилась до 500. Он знал: движение будет менее смазанным.

Убийство было чем-то вроде танца. Толстяк с женским тазом начал поворачиваться к подростку, тот сделал еще полшага назад, и гильзы запрыгали по кирпичу. Тело казненного, словно он теперь передумал и решил просить пощады, сначала согнулось в поясице, а потом поехало назад. Он сел, дернувшись, медленно завалился назад – дымящаяся сигарета в сжатых зубах...

Когда смотришь на мир через видоискатель камеры, действительность представляется отстра-

ненной, она превращается в фикцию, из нее откатоано время. Именно поэтому пространство так легко стилизуется, превращаясь в пейзаж, в натюр-морт пейзажа, а люди, живые и мертвые, – просто в портреты.

Ким физически чувствовал и много месяцев спустя в тыльной стороне ладони, в руке и плече – остановленное движение. Он был готов толкнуть подростка вперед, к обрыву. Но вместо этого он нажал спуск мотора камеры. Кадров было четыре. Двадцативосьмимиллиметровый объектив взял площадку целиком. С приземистым лохом, слоистым мирным вечерним небом, с кирпичом стены, стволом АКМа и приседающим толстяком.

На слайде толстяк улыбался.

На какое-то время он выключился, проснулся от прикосновения – старикан, ковылявший в сортир, смазал рукой по загривку. Ким перелег головой к окну, опять начал соскальзывать в сон. Великая вещь современная химия! Он знал, что произошло чудовищное, непоправимое с его жизнью, причем *pour toujours*, навсегда, но восемь четвертушек бромазепама держали кошмар на безопасной дистанции.

Люц Шафус устроил в Бобуре огромную международную фотовыставку. Пол-этажа. Фирма Kodak была спонсором.

Ким получил приглашение выступить на конференции, плюс – билет на самолет. Он провел март в Париже и в Нью-Йорк вернулся вместе с Дэз.

Прошлое было если и не забыто, то обезболено. Он не мог без нее, она не могла без него. Счастье на самом деле всегда дико банально. Слова старой песни звучали ужасно, но мелодия, развитие темы, стала еще лучше.

Дэзирэ опять была юной и свежей проказницей, упорной теннисисткой, своей в доску, трогательной мамой Дэйзи, бесстыдной наложницей и заботливой хозяйкой. Теперь она хотела все делать для него сама и все с ним делить на два. Готовить она так и не научилась, но их чердак стал уютнее. Она могла отныне при желании выиграть у него сет, она терпеливо исправляла его ошибки во французском, он стал лучше плавать, но они пили больше, чем год назад, покупали дурь, а когда были деньги – кокаин. Колин Уилсон был забыт вместе с Кастанедой, но она продолжала носить в кармане крупный осколок цитрина, при дневном свете золотисто-лимонный, при электрическом – кроваво-оранжевый. Цитрин защищал ее от сглаза, дурной энергии и приступов булимии.

Боже! Все было так просто и так по-идиотски прекрасно! До него дошло, что там, где он открыт ужасам и печалям, его прикрывает Дэз. И точно так же он был ей нужен для защиты от страхов, для того, чтобы и ее энергия не вытекала впустую. Потомок Солона был прав: люди – половинки друг

друга, и со стороны разреза, разъятия – уязвимы, распахнуты всем бедам. Чтобы обрести силу и уверенность, нужно к слабости прибавить слабость, сойтись, соединиться этой обнаженностью, этими рубцами и, как две половинки грецкого ореха, снова замкнуться в целое... Со стороны пола человек слаб, но лишь когда был обращен вовне, и силен, когда замыкался со своей половинкой, становясь ею, им, целым.

Конечно, теперь Ким ждал подвоха судьбы, удара в спину – *je panique quand tout va bien*¹ – но после лета во Франции, раскаленных улочек Грасса, горячей черепицы Авиньона и деревенской тиши рыбацкого поселка в заливе Морбийон наступила асфальтовая, небесам распахнутая, нью-йоркская осень, и их жизнь начала устраиваться, принимать наконец форму, он получил заказ на репортаж от Вога, а Дэз решила открыть небольшую галерею. Отец дал ей деньги, не вникая в детали, “платит мне, знает за что”, сказала она, потом пришла зима, первый вернисаж, из России доносились все более и более немыслимые новости, он отправился на репортаж в Берлин, оттуда в Прагу, но в Москву ехать не хотел, хотя предложения были самые заманчивые и невероятные.

Прошел год. В какой-то момент он понял, что слишком расслабился, размяк, что твоя горбушка в луже, растолстел, потерял реакцию. Сне-

¹ Я в ужасе, когда все идет нормально... (фр.).

жок, каннабис, в замороженных стопках ледяная водка под балычок – на Брайтоне теперь коптели все подряд: окорока, рыбешек, сыры, родных мам, старые шузы... Он немного задыхался, Дэз над ним посмеивалась, а один раз чуть не загнулся с ней в постели. Тубиб ¹, замерив давление, нахмурился. Верхнее было 210.

В больницу, даже на три дня, он лечь отказался. Да и медкарт ², страховки у него не было. Какое-то время сидел на режиме, по salt, по animal fat ³, сбросил семь кэгэ, начал бегать три, потом пять дней в неделю. Но в атлета он не превратился. Потихоньку опять начал смолить, сворачивая генерала Гранта ⁴ в трубочку, занюхивать, когда была “капуста”, благо Дэз время от времени приносила домой “зелень” авоськами...

Потом была дыра. Красивая черная дыра с рваными краями. Никакой работы. Zero. Дэз бухнула все оставшиеся деньги в небольшое масло Брака. Брак оказался с браком: подделка.

Вонг советовал вернуться в Париж. Там Кима знали, там у них по крайней мере была своя квартирка... Ким мог устроиться в редакцию, к тому же Жан-Клоду, тот звал его не раз...

Но правила игры изменились. Теперь для того, чтобы получить заказ на репортаж, нужно

¹ Врач (жаргон, *фр.*).

² Американская медицинская страховка.

³ Ни соли, ни животных жиров (*англ.*).

⁴ Стодолларовая банкнота. В Штатах иногда шика ради занюхивают кокаин через трубочку, сделанную из сотенного билета с генералом Грантом на банкноте.

было сгонять домой, в Москву, в Питер, в Астрахань, куда угодно – на восток.

– Il faut te recycler, ¹ – сказала ему Мари-Элен, когда он ей позвонил.

То же самое объявил и Люц:

– Ты меня прости, но твоя репутация... рассыпалась вместе со Стеной. Не твоя одна, конечно. Но ты теперь в архиве. Если сделаешь два-три репортажа из России, тебя... реанимируют. Нет – сам понимаешь... Но я думаю, что если бывший бунтарь, чьи снимки печатали по всему миру, сделает теперь портрет Горби, успех будет... ну, скажем, солидный.

Люц в разговоре любил делать паузы.

– Тишина, – утверждал он, – дыра меж слов, действует сильнее цитат из Гете...

Дэз говорила, что он просто – тугодум.

– И дикая зануда, – добавляла она.

Ким сидел, закутавшись в одеяло, неподвижно глядя в окно. Ночь светлела, боинг со скоростью 18 км в минуту врезался в рассвет. По проходу прошел, трясая головой, с трудом сдерживая зевоту, стюард. Вернулся, повис над Кимом.

– Господин желает чаю? Кофе? Завтрак будет через час.

Ким попросил большую чашку кофе. No milk.²

Если не двигаться, не шевелиться, было впол-

¹ Здесь: Тебя нужно обновить, переделать... (англ.).

² Без молока (англ.).

не сносно. – I'm OK, – сказал он сам себе и тут же скорчился. Ложь отозвалась болью в висках. Затылок опять превратился в Северный полюс, в тубейку льда.

Конечно, все дело было в ней, в России... Столько лет, молекула за молекулой, в памяти уничтожалось прошлое. Кассета с прошлым гонялась справа-налево, слева-направо. Перегретая стирающая головка работала на всю мощность. Хрен сотрешь! Оно все время выскакивало из-за угла, это прошлое. Как та бабенка с кошелкой в Яффе – ни дать ни взять – тетя Фрося из инвалидной конторы. Или где-нибудь в Нью-Джерси дождливым осенним днем на каких-нибудь заросших метровой крапивой подъездных путях призрак счастливого детства – па шпалам, бля, па шпалам, бля, па шпалам... Да и на Луаре, когда не лезет в глаз очередной королевский замок, пейзаж такой среднерусский...

Когда пространство превращается во время, в прошлое время, от него трудно избавиться. Его слишком много, этого прошлого. Оно безумно насыщено. Целая страна, целый мир съезживается до этого *passé*. У него вес сверхтяжелых металлов, плотность, как внутри лампы Аладдина. Невозможно, когда оно в тебе, внутри тебя, иметь собственный центр тяжести. Оно перевешивает. Во всех случаях. Во всех вариантах. Такое прошлое держит тебя, не выпуская.

Настоящее тогда становится нереальным, радужной пленкой, прилипшей к поверхности галлю-

цинаций. Взаправду зацепиться за настоящее, удержаться в нем – становится невозможно.

Отсюда и вся меланхолия, горечь и, подчас, надрывная истерика молодых диаспор. Дети иммигрантов, не нагруженные памятью, живут Here & Now, а предки, заделавшие их чуть ли не в ОВИРе, в это Сейчас и Здесь ломаются безуспешно, безнадежно, не осознавая своей обреченности. Свалить-то они свалили. С географией у них полный порядок. Но во времени остались все там же – на счастливой и пьяной одной-шестой. И ни оттуда – сюда, ни отсюда – туда. Шизофрения. Жизнь между мирами, в межзоннике, на контрольно-следовой: стена колючей проволоки слева и витки неразрезанных катушек бритвенных лезвий (прогресс!) справа.

Поди, смойся...

И все же года два назад стирающая головка начала брать слой за слоем... Прошлое постепенно теряло над ним власть. Жизнь становилась объемной, трехмерной и если и просвечивала, то лишь на стыках. Призраки все еще захаживали, не спросясь, проламывались в три утра сквозь кирпичную крошку стен, мелькали в вечерней толпе на Сен-Жермен, особенно в сумерках, в blue hour,¹ меж кошкой и любящей ее собакой, но все же – все реже и реже.

Под самый занавес, под самый железный занавес эпохи, он был почти свободен от прошлого. Так ему честно казалось.

¹ В сумерках (англ.).

И вот теперь все стертое, аннигилированное, исчезнувшее, вся та фальшивая реальность, сквозь которую проросла, продралась его собственная жизнь, пыталось вернуться. Антимир получил право на переход в действительность. Замелькали уже живые и шумные люди из его собственной жизни. Он ужинал с ними, пил, расспрашивал о знакомых, показывал Париж или Манхэттен, стоял, нагруженный пакетами, у прилавков Самаритена или Блюмингдейла и чувствовал, как соскальзывает, промахивается разговор, как все летит мимо, мимо, не соприкасаясь, проходя насквозь...

Кое-кто просто покупал билет на самолет и через три дня возвращался из Москвы с вытаращенными глазами.

– Ты не можешь себе представить...

Как раз представить он мог, но вернуться физически в то, что однажды для него перестало существовать, не мог. Россия же огромной тушей переползала из светлого прошлого в серое предстоящее. И предстояло ей жить в межзоннике несколько десятилетий.

Стюард принес кофе – слава богу, вполне европейский. Пассажиры начали оживать. Через полчаса кто-то уже кашлял, кто-то громко спрашивал стюарда, на сколько часов назад нужно перевести часы, юная Одри Хепберн что-то искала на четвереньках в проходе, долетел, рассасываясь, сигаретный дымок, и шелковая старушка с лицом, съехав-

шим за ночь набок, открыв ручную сумку, набивала рот цветными таблетками.

Он не помнил, в какой момент все начало съживаться и скособочиваться, вырулило на дорогу с указателем “К Чертовой Матери – 15 миль”, а в какой момент – появился Крис. Папа немец, мама филиппинка, дедушка поляк, бабушка княгиня Самостругофф... Что-то в этом духе. Двадцать семь лет, хорош собою, но уж больно вертляв, больно хорош. И уж точно не дурак, хотя – дураком попахивал.

Крис затевал трансатлантический журнал. Париж – Нью-Йорк. Денег у него куры клевать не клевали – отказывались. Сначала Ким думал, что брюнет с голубыми глазами обычный пед. Но потом, присмотревшись, как вытанцовывает он вокруг Дэз, понял: этот пед забрюхатит родную маму-филиппинку и сфинктером не моргнет...

Под нулевой номер журнала Крис выложил аванс, купил старое, но нигде не прошедшее киевское фото-интервью с Нуриевым. Ко всеобщему удивлению, журнал вышел. К еще большему, с третьего номера начал окупаться. Макет был сделан хитро: парижский покрой, американский материал, европейская элегантность, новосветский динамизм.

Но четвертый номер не появился вообще, а Крис исчез в неизвестном направлении. Вынырнул он ближе к лету, похудевший немного, несмотря на

загар, помятый, но все такой же нагло-вежливый, бурно-оптимистичный, заводной, как тот самый апельсин...

Теперь он представлял на территории США группу скандинавских журналов нежно-розового дерматологического направления. Век Валгаллы не видать, это не было отвердевшее в разврате порно! Это была стимулирующая гормональную систему серия изданий на неплотной и недорогой бумаге, с множеством чудесных фотографий дивно сложенных юных див и юных же демонят, слегка опаленных дыханием южного солнца. Крис поставлял викингам статьи калифорнийских гуру об аминокислотах, превращающих жировые складки в упругие мускулы, эссе о вытяжках из сока редкой разновидности среднеамериканского одуванчика, блокирующего рецидивы герпеса, а так же через агентства в Лос-Анджелесе и Сан-Диего отправлял за океан тонны слайдов удивительно обнаженной натуры...

Это он, внук княгини Самостругофф и сын (несомненно, сукин!) баварского пивовара, предложил в конце июля размножить голенькую Дэз для визуального потребления в странах скандинавского полуострова. К этому моменту с деньгами было не просто туго, их появление не предвиделось раньше сентября. Нужно было платить за лофт, за телефон, нужно было иметь хоть что-то, чтобы дотянуть до сентября, когда Дэз, по идее, должна была получить деньги – часть оставшихся от матери сбережений, задержанных

французской администрацией по нудной причине государственного грабежа – налогового сверхобложения.

Бред уплотнился до кошмара именно в этот момент.

С одной стороны Ким боялся, что из Дэзи-рэ, как из зеркала, выйдет та прежняя злая Дэз, кусачая, сволочившаяся, отправившаяся на никогда не состоявшуюся стажировку в Тулузу. С другой стороны, нужно было быть идиотом, чтобы не понимать, что Крис, который платил не сам, не из своего кармана, и для которого протолкнуть очередную *cover-girl*¹ было делом минутным, хотел увидеть именно Дэз – *à poil*.²

Конечно, страх Кима, что Дэз на этот раз мелких денег ради найдет фотографа и будет позировать ему голышом, как в кресле гинеколога, был не оправдан. Она была не просто на его стороне, она была отныне частью его самого. В этом невозможно было сомневаться. Но обидный призрак нелюбви начал разгуливать в сумерках по лофту на Перри-стрит. Крис не требовал вывернутых наизнанку подробностей. Но в его журнальчиках не участвовали известные фотографы. Он хотел Щуйского. Щуйского и его *fiancée*.³ В случае же Дэз, уверял мерзавец, ему нужны были мягкие, неагрессивные ню, тема “Парижаночка в Нью-Йорке”.

¹ Красотка с обложки (*англ.*).

² Нагишом (*фр.*).

³ Невеста (*фр.*).

– А ля Хэмилтон, а? Жидкая радуга, стекающая по голым плечам...

– Мне абсолютно наплевать на то, сколько датчан увидят меня в своем дrotchильном журнальчике, – сказала Дэз.

“Ага, – подумал Ким, – а как насчет тех французов, что натерли себе кое-где мозоль в процессе рассматривания твоей высунувшей язык кисы в “Кâта”?”

Хитрый Крис заплатил наперед.

– Я знаю, что ты сделаешь из меня богиню, ревнучка ты моя, – уверяла его Дэз.

– Ты и так богиня, нимфа моя гудзоновская, – отвечал он ей в тон. – Что ж, сделаем пробу, о’кей... Ванна, пена, твои всхолмия... И все в черно-белом. На этом мы дядю Криса и наколем. Мне вот лишь нужно прикупить пару рабынь...

– Рабынь? Для гарема?

– Две вспышки “морис”...

Они стояли в дверях киношки на Лексе, пережидая ливень. Потоки теплой воды падали отвесно, словно это был небольшой водопад, оплаченный городской мэрией или же – чудачком филантропом.

– У нас такой же дома, – сказал он ей. – Только солнечный.

Жара была чудовищной.

После двух чашек кофе он заснул и, наверное, храпел, судя по взгляду, которым его наградила

после пробуждения розовая бабуся. Голова все еще побаливала, но больше не тошнило. Он достал сумку, порылся в боковом кармане, ухмыльнувшись, нащупал пачку корейского женьшеня. Упаковка смахивала на презервативную. Он попросил кипятку, стюард вернулся с термосом, высыпал три пакетика в стакан и размешал. Он ждал знакомого прилива сил, женьшень действовал на него безотказно, но вместо этого опять заснул и проснулся уже в аэропорту Руасси.

– Господин, – несильно тряс его стюард, – ваша декларация.

– Благодарю, – щурился Ким, стараясь дышать в сторону. – Мне не надо. У меня французский паспорт...

В баре аэропорта он выпил чашку крепкого эспрессо с коньяком. В такси радио играло что-то арабское. – *Alla Akbar!*¹ – сказал он сам себе. – *Parigi!*²

Он чувствовал себя почти счастливым. Хотелось двигаться, плавать, бегать, принять ванну, завалиться спать на три дня, сменить белье, засесть с Борисом в каком-нибудь крошечном ресторанчике и просидеть до самого закрытия, и все сразу, именно в таком беспорядке. Он вспомнил любимую фразу Дэз из ее суфистского периода, и, словно щелкнул где-то переключатель, стало жарко и душно, и он почувствовал прилипшую к спине ру-

¹ Аллах велик! (*араб.*).

² Париж! (*итал.*).

баху и металлический привкус во рту, грязно-серый пригород поплыл перед глазами.

Свобода – это отсутствие выбора.

Бориса дома не было. Он зашел в угловую кафешку на Мотергей и позвонил в бюро. Автоответчик. Он оставил сумку у консьержки, спустился в метро. Завад, наверняка, сидел где-нибудь в одном из бистро на бульваре Монпарнасс, или же в Маленьком Швейцарце возле сада. Он решил сойти на Люко, заглянуть в Швейцарца, а если там его нет, пройти через Люксембург и Ваван и начать с Ля Куполь.

Он стоял на платформе в оцепенении, когда из туннеля, дребезжа, выкатился самый настоящий облезший желтый Sprague. Наверняка последний экземпляр. Поезд весь трясся и скрежетал, его тормоза годились, пожалуй, для озвучивания фильмов ужаса. Ким откинул блокирующую ручку, раздвинул двери, пропустил вперед толстую тетку с полосатым баулом из Тати, вошел и сел. Вагон был полупуст.

На Нотр-Дам ввалилась шумная компания итальянских подростков-туристов. Поезд тронулся, вагон трясся и визжал, дверные ручки подпрыгивали, где-то звенел похожий на дачный телефонный звонок. Тяжело, словно он двигался под водой, Ким встал, подошел к двери. Платформа должна была быть слева. Такой случай нельзя было упустить. Медленно он откинул блокирующую ручку,

незаметно надавил – двери готовы были разлететься в стороны без малейшего сопротивления.

Через грязное стекло он наблюдал молодых итальянцев, их полные здоровые лица. Девушки передавали друг другу открытую банку кока-колы. Парни переговаривались, бросая быстрые взгляды на длинноногую в мини-юбке негритянку, сидевшую на откидном сидении.

Ким потянулся на носках, разогревая лодыжки. Привычка: чтобы не подвернуть ногу, не зацепить ногой дверь. Внезапно опять снизу-вверх по позвоночнику пошла горячая волна, и в глазах потемнело. В ушах, словно прибавили громкости, стучали колеса старого поезда. Сквозь вращающиеся перед глазами пятна кровавой мути он увидел свою босую ногу, зацепившую провод вспышки “морис”, накрененный, быстро падающий в ванну штатив, улыбающуюся, в мыльной пене Дэз и короткую синюю вспышку, словно кто-то выстрелил перед глазами из ненастоящего револьвера... Ключья тьмы...

Он тряхнул головой. Платформа приближалась. Он почувствовал на спине любопытные взгляды итальянцев. Одним рывком он распахнул двери – они легко разошлись в стороны – и привычно шагнул в пустоту.

За несколько метров до начала платформы станции Люксембург находится освещенная тусклой неоновой трубкой довольно большая и грязная ниша. Клошары, коротающие в метро время, часто прячут там свои литровые бутылки красного и пластиковые

пакеты со снедью. Эту-то нишу Ким и принял за начало платформы. Его швырнуло об грязную, с тройным рядом толстого черного кабеля стену и отбросило назад под оглушительно стучащие колеса поезда.

Когда высоко, оседая целыми октавами, завопили тормоза, четверо итальянских тинэйджеров повалились, как подкошенные. Двое из них, уцепившись за поручни, кое-как удержались на ногах, один уехал на спине по проходу, а четвертый с разбитым лицом рухнул в колени благим матом вопившей мавританки.

Люк высадил Бориса возле Клозри де Лиля. Реми спал на заднем сидении “рэнджровера”. Было около девяти: солнечно и пусто. Август – астры... Он так и не добрался вчера до Американского Экспресса. Группа перехватчиков увезла его в Довиль: Люк, Пьес, Реми.

Приземистый и неожиданно застенчивый Люк был компьютерщиком-надомником, вечно кому-то что-то настраивал, покупал и продавал принтеры, сканеры, модемы и изъяснялся на dosовской фене:

– После рюмки водки я чувствую себя на 4 мега богаче...

Про милягу Пьера, кроме того, что он был отличным теннисистом и у него можно было отовариться травой, ничего не было известно. Пьер был улыбчив, хорош собой и иногда опасен. Есть такие складные ножи – лучше не открывать.

Реми... Реми покупал картинную галерею и превращал ее в склад не востребовавшего хлама, который, в свою очередь превращался в забегаловку, потом в бюро путешествий, потом в цветочный магазин. Реми отыскивал замок в Бретани, который он намеривался превратить в пятизвездный отель, спортивный клуб и шикарный ресторан. В итоге замок отходил под японский клуб гольфа. Реми собирался ставить пьесу, которую он сам хотел написать... Реми был мечтателем, у которого были деньги...

Они всласть наплавались на закате Европы, пришлось купить плавки, – первая разменная пятисотка из татьяниных – отужинали в непомерно дорогом кабаке возле казино и отправились играть в рулетку. Народу было много, все – пляжные, надушенные, загорелые. Мужички с золотыми цепями на бычьих шеях, с картье на крепких запястьях, дамы – у каждой в мочке уха по трехкомнатной квартире, на безымянном пальце по шале... Попадались и персонажи, словно вырезанные из целлулоида черно-белых фильмов. Так, под стеклянным колпаком колоннами отгороженного бара величаво накачивался фрачный Кери Грант, а в холле гуляла молодая и прелестная сумасшедшая в развевающихся лиловых шелках.

Борис играл второй раз в жизни. Никакой системы у него не было. Он поставил сотню на красное. Вышел ноль.

– Ты в тюрьге, – сказал Реми, – тебя заперли. Затем вышло красное, и Борис сотню забрал. Ка-

кое-то время он наблюдал за играющими, потом решил, что если черное выйдет трижды, он поставит дважды на красное. Он поставил и выиграл, удвоил до четырехсот и выиграл снова.

Пьер приехал без документов, и его в казино не пустили. Он сказал, чтоб про него забыли – он вернется сам. Люк ушел с какой-то пухлой, как надувной матрас, девицей на пляж. Реми зевал и ставил сотню за сотней на 26. Хорошо иметь вместо папы сейф размером с Триумфальную арку... В начале первого Борис удвоил свой капитал. Кроме отыгранных татьяниных, у него теперь был собственный запас тысячи в три с половиной. К двум утра у него оставалось несколько сотен. Он отыграл тысячу и злой и усталый отошел от стола. В голове звенело. Голос крупье, объявлявший: “Vingt-six, noire, paire et passe...”¹ – звучал глухо, как из-под воды.

Люк вернулся без девицы, но с косяком травы, и они долго сидели на берегу, потягивая из фляжки старый арманьяк, покуривая и глядя, как волны набегают на песок. В небе меж звезд двигался поток огней, точно такой же мелькал на горизонте в океане.

– Представляешь, – говорил Люк, – я с ней был в одном классе. Сонная такая, невзрачная писюшка была, а по математике, по физике, по немецкому забивала всех. Сколько мы? Лет десять не виделись? Вышла за типа, у которого сеть пощи-

¹ Двадцать шесть, черное, четное и ставка (фр.).

вочных, переехала сюда. Тип этот ее болтанул с какой-то полячкой и отвалил открывать свои швейные в Краков. Вот она теперь пашет в ресторане казино, ждет вестей о разводе. Дома пацан двух лет. Была очкастая, худенькая, теперь линзы носит и прибавила 200 мега, разнесло ее, видел? Банально, как куча говна. Называется – жизнь.

– Не пора ли сваливать? – уныло спросил Реми. – Мне завтра нужно быть в полной форме.

– Она сейчас вернется, – сказал Люк. – У нее здесь две подружки из местных. Пойдем посидим хоть с полчаса...

Толстушку звали Клотильдой. Одна подружка уже спала, но вторую, Розу, уложить можно было только силой. Они пошли к Розе, которая жила на первом этаже уютного нормандского домика, и просидели до четырех. Сначала пили холодное белое, потом кофе, Роза лезла к Реми, расстегивала ему рубашку, гладила по груди. Реми зевал, закатывал глаза, вяло отшучивался, но в итоге был уведен на антресоли и появился взъерошенный и взлохмаченный, с блудливой улыбкой на губах.

– Поехали? – бодро спросил он.

Они расцеловались с Клотильдой, Роза так и не спустилась вниз, и вышли на улицу. Поднимался свежий утренний ветер. Океан зло ворчал. Где-то все еще наяривала музыка.

В машине, ища кассету и не попадая ею в щель проигрывателя, Реми жаловался:

– Динамо! Крутанула мне стопроцентное динамо! Говорит, что вторую неделю на антибиотиках. Клянусь, в жизни у меня так не стоял! Разве что на Корсике, когда меня пчела под самый корень ужалила...

Несмотря на ранний час, по автостраде шпарили трейлеры, и ближе к Парижу они даже попали в небольшую пробку.

В пустой брассри Борис уселся у окна и заказал большую чашку кофе с молоком, тартинку с ветчиной, два круассана и мед. Он был зверски голоден.

Позже он вышел купить газету, а когда вернулся, гарсон, принесший вторую чашку кофе с молоком, сказал ему, что его спрашивал какой-то иностранец.

Он заканчивал просматривать Либе, когда кто-то плюхнулся на диван рядом с ним.

– Ты меня пасешь, что ли? – спросил Борис недовольно.

Зорин был гладко выбрит, бледен. Лакостовская рубаха-поло была туго натянута на его крутые бугры. От него несло смесью дешевого лосьона и дезодоранта.

– D'ас ¹, Андрюша, – сказал Борис. – Я тебя слушаю.

– В воскресенье или понедельник в Москве будет переворот.

¹ Здесь: хорошо, ну (жаргон, фр.).

По лицу Зорина было видно, что ему жутко.

– Откуда ты знаешь?

– С самого верха.

– У тебя есть доказательства?

Зорин положил перед ним фотокопию факса.

– Ну это, знаешь, кто угодно может послать...

– Ты прочитал? – тихо спросил Зорин.

Борис дочитал до конца, взял круассан и обмакнул в кофе.

– Что ты за это хочешь?

– У тебя есть свои люди в ОФПРА¹.

– Может, ты думаешь, что я на зарплате в ДСТ²?

– Нет, но я знаю, что с ОФПРА у тебя хорошие отношения. В русском отделе. У нас на тебя была в свое время информация. Ты помог Ефимову, ты пропихнул без очереди Рухина.

– Но ты же сам знаешь – убежище больше не дают!

– С завтрашнего дня опять начнут...

Зорин достал пачку сигарет и искал по карманам зажигалку.

Гарсон принес его полпива, протянул в ладонях огонь. Зорин прикурил, мотнул головой.

– Я не так уж много прошу.

– Что правда, то правда, – сказал Борис, вставая. – Посиди, я позвоню в редакцию...

Он спустился в туалет и, пока журчала струя, обдумал все и за и против. Главный все еще в от-

¹ Бюро по устройству иммигрантов и политбеженцев.

² Контрразведка (*фр.*).

пуске, а замещающий его старый лис Дюбье наверняка откажет. Тогда лучше говорить не с ним, а с начальником иностранного отдела, Сельдманом.

– Который тебя терпеть не может, – сказал Борис сам себе и спустил воду.

Сельдмана не было на месте, а Дюбье сразу спросил, откуда информация.

– От коллег с того берега, – ответил Борис.

– Сколько он хочет, твой коллега? – заядлый курильщик Дюбье выдохнул с таким шумом, что Борису показалось, что дым вышел из трубки на его стороне.

– Пять.

– В письме называются имена?

– Да, включая маршала Язова...

– Что ты сам думаешь?

– Я стараюсь не думать. Мне важно понять, на кого готовить некролог. На всех сразу или только на Горби...

– Ладно... Если этот твой тип согласен дать свою подпись, бери и вези. Если нет... дадим три строчки о слухах.

– Деньги сегодня, – сказал Борис. – Наличными.

– Если даст свое имя – сегодня.

В ресторане глухо ревел пылесос, в брасри прибавилось народу. Две средних лет американки, старательно подыскивая французские слова, заказывали завтрак.

– ОК, Андрюша, – сказал он усаживаясь. – Быть может, это твой звездный час. Даешь подпись, отправляю тебя в ОФПРА... Борис достал ручку и записную книжку, в ОФПРА работала Софья Ивановна Шумилова, дочь генерала.

Пальцы Зорина барабанили по столу. Гарсон принес и поставил перед ним, ловко забрав пустую кружку, вторые полпива. Зорин пил “эдельскот”.

– Какая тебе разница, – спросил Борис, – если ты собираешься уже сегодня подавать на убежище?

– Согласен! – сказал Зорин и жалко улыбнулся. Он достал из атташе-кейса вторую бумагу. – Здесь все на мое имя. Расписаться?

Он размашисто расписался, и Борис протянул ему картонную пивную подставку с номером телефона Шумиловой.

– Позвони до обеда. Скажи – от меня и сразу подъезжай. Это у черта на рогах. Пока доедешь, она уже отобедает. Бумаги у тебя с собой?

Оба замолчали. Потом Зорин заторопился. Залпом прикончил пиво, засунул сигареты в атташе-кейс.

– Может, пойдем позвоним? – спросил Борис.

– В ОФПРА?

– Да нет, в Кремль, Горби. Предупредим...

– Он в Крыму, – сказал Зорин. – И вряд ли у него есть связь... С ним, вернее...

– Ах, да, – Борис посмотрел в окно, черный парень в зеленом комбинезоне пластиковой метлой подметал тротуар. – Я читал. Он в Ялте...

– В Форосе, – Зорин встал.

– Здоровый мужик, – подумал Борис, рассматривая атлетическую фигуру изменника родины. – На нем тяжелую воду можно возить...

– Я пошел, – сказал бывший одноклассник.

– Good luck ¹, – бросил ему в спину Борис.

Князь смоленский и московский стоял обезоруженный – у маршала Нэя забрали шпагу на реставрацию. Борис повернул было к бульвару Обсерватории, но передумал и, пропустив вопящую скорую, свернувшую под конвоем двух полицейских машин к госпиталю Кошан, направился к павильону метро Порт-Ройаль. Станция была закрыта.

– Несчастный случай, – сказал кассирша. – На станции Люксембург.

– Безработный-самоубийца. Что им еще остается? – бубнила какая-то тетка в просторном цветастом платье и домашних тапочках, направляясь на выход к эскалатору.

Он пошел вверх по Бульмишу, оглядываясь, ища глазами такси. Машин почти не было, лишь огромные, на солнце окнами пылающие автобусы развозили туристов. Нужно было по крайней мере принять душ и переодеться. Небо было чистое, без облачка, воздух наполнен золотым свечением, пахло свежеполитым асфальтом, пригородом, подсыхающей краской. В августе весь

¹ Удачи! (англ.).

город подкрашивали, подмалевывали, меняли вески, латали крыши.

На углу Валь-де-Грас он поймал такси – белый мерседес, черный водитель. В салоне царил арктический холод.

– У меня раньше голова на молекулы распадалась. На атомы! – говорил шофер, и уши его заметно шевелились. – Когда подумаешь, чем мы дышим... Чистым свинцом, господин. Из этого воздуха можно пули отливать... Теперь са ва ¹, теперь это и не работа. Если бы не все эти охломонны, которые не умеют водить, господин... И пешеходы... Где-нибудь в мире еще есть такие пешеходы?.. Если бы не эти пустяки, рулить по городу – это же праздник!

– И... не холодно? – спросил Борис. – Все-таки вы, наверное...

– Господин имеет в виду мое происхождение? – уши растопырились. – Я вам скажу. Я три года прожил в Москве. Знаете, какая там температура в январе?

– Знаю, – сказал Борис, сам себе улыбаясь. – Иногда минус 25. Когда мне было лет десять, и до тридцати доходило.

Такси стояло на перекрестке. Шофер, повернувшись, смотрел на Бориса.

– Ви усский? – сказал он, неподдельно радуясь. Я там учился. – У меня жена усская.

– В Лумумбе?

¹ Здесь: нормально, хорошо (*фр.*).

– На медисинском.

Машина тронулась, и шофер перешел на французский. – Не закончил. Надоело черножопым быть. Как в автобус садишься, обязательно кто-нибудь обзовет. Я никогда столько в жизни не дрался. Особенно их раздражало, что у меня, у черного, валюта была, и что я мог в “Березке” продукты покупать...

– Жена – москвичка? – спросил Борис, незаметно зевая.

– Москвичка. Она и сейчас там. Месяц здесь пожила и назад. “Не могу, – говорит, – не для меня это”. На Новый год, может быть, придет. А не то – придется разводиться. Жаль, хорошая женщина. Душевная и, знаете, не как эти маленькие француженки, выносливая... С ней в десять вечера не заснешь...

Они ехали через Новый мост. По Сене, в сторону Сюлли ползла баржа, груженная рыжим песком.

– Можно налево, по Риволи, – сказал Борис. – Но лучше в туннель под Самаром. Выезд на Лувр.

– Без проблем! – сказал шофер и закончил по-русски:

– Все в порядке, товарищи...

В почтовом ящике был толстый конверт с грифом бюро социального страхования. Лучше не вскрывать.

– Не будем себе портить день, киса... – про-

шептал Борис все той же лестничной кошке, тершейся боком о дверной косяк. Консьержки не было. Он постучал еще раз. Ши-На-Ти. Ти-Ши-На.

Je sonne – personne; je resonne – repersonne!¹ Мадам, меня интересует ваша родственница, Ханита-Хуанита, Роза-Мария-Карлос... Собирается ли она вообще рожать? Ей так идет эта надувная подушка под кофтой. Пусть сбреет усы и приходит. Пусть приходит усатая... Мадам, ей был выдан аванс на месяц вперед, и я вправе ожидать, что... В конце-концов паркет приемной залы покрыт слоем пыли, а окна, выходящие на Большой канал...

Он достал ключ, и в этот момент свет на лестнице погас. Природа осчастливила нас даром ночного виденья. Танки и бронетранспортеры, ракеты на гусеничном ходу, ключ не попадал, а также рядовой состав, отливающий под колеса газиков, не ускользнет от нашего взгляда... Дверь открылась. Пахнуло чем-то, действующим на чувство вины. Что бы это могло быть? Заскоружное холостячество. Окурки в кофейных чашках. Непросохшее полотенце на полу в ванной. Дверь вырвалась из рук и с пушечным выстрелом захлопнулась. Бах! Ага, Иоганн Себастиан...

На ходу освобождаясь от пиджака и рубашки, расстегивая ремень, он добрался до кровати. Поднял трубку телефона. Последний звонок

¹ Я звоню – никого; я звоню снова – опять – никого

был в Нью-Йорк. Он нажал redial¹. Пластмассовая пулеметная очередь улетела в окно, зашипело, щелкнуло, затрещало, послышались гудки. Он подождал с минуту, бросил трубку. Главное, что теперь есть что отправить. Пшеничка...²

Он стянул брюки, с трудом бросил в кресло, носки, трусы, часы... свалился на кровать. Право на отдых гарантировано Конституцией. Откуда это пятно? Кофе?

Не глядя, протянул руку к автоответчику, нажал.

– Ты придешь ужинать? – спросила Жюли.

– Приду... – тихо сказал он.

– Позвони... – голос ее был беспредельно нежен. Щелкнуло.

– Месье Буланже говорит. Дарти. Безмерно счастлив вам сообщить, что ваш пылесос марки Филипс отремонтирован. С удовольствием мы вам, трынк-трынк, подтверждаем. В любое время. Можете. Хм. Получить. Щелк.

– Ты дома? Алле? Это Сандра. Я в городе. Если у тебя будет время, заскочи в Ростан, на Медичи. Я там буду с семи до восьми. Чао, ненаглядный...

Под захлопнутыми веками защекотало глаза. Он почувствовал тепло в паху. “Все правильно, Сандра говорила не со мной, а с тобой”, – сказал он, чувствуя, как мерзавец поднимает сонную го-

¹ Повторный набор номера (англ.).

² На фр. жаргоне – деньги.

лову. Сандра! По телу пробежала дрожь. Вжаться в нее и изойти горячими потоками. Совместный плач больше, чем... Чем что? Не помню. Память дырява, что твой дуршлаг.

Он проснулся без пяти три. Потное лицо прилипло к подушке. Болела голова. Небо за вздувшейся шторой было цвета жидкого жемчуга. С улицы доносилась глухая дробь африканских барабанов. Он долго стоял под горячим душем, потом под холодным. Вытершись грязным полотенцем, он натянул джинсы на голое тело, нашел под кроватью белые теннисные полукеды, мимоходом включил кофеварку, радио. В Бретани, в заливе Морбийон ожидался шторм. В Германии восточные немцы предлагали западным махнутья банковскими счетами. В Шанхае самолет местной линии приземлился вверх ногами. Все пассажиры живы, но нездоровы. Он напялил черную тишотку с голубым орлом “Харлея”, еще раз нажал на redial, подождал и набрал номер Жюли.

– Я буду после девяти, – сказал он после писклявого бипа.

Бросив взгляд на грязные чашки, он выключил кофеварку, прихватил бумажник и солнечные очки, открыл холодильник, пахло затхлым, достал бутылку апельсинового, отвинтил крышку и завинтил обратно. Fuck you. Без адреса. Мировому злу. Переворачивающему самолеты, посылающему письма налогового управления и социального страхова-

ния, приказывающему кукарачам селиться под кофеварками и превращающему кровь яффовских апельсинов в крысиную мочу...

– А ты пробовал? – спросил кто-то. – Крысиную мочу?

Закрывая дверь, он услышал короткий звонок и собственный голос на автоответчике. Затем щелкнуло, и глубоким грудным голосом дочь генерала Шумилова сказала:

– Борис Степанович, не могли бы вы позвонить мне в контору. Это Софья Ивановна. Я была бы вам очень признательна. Спасибо.

Он захлопнул дверь.

Алан Дюбье когда-то был спецкором в Москве, потом – в Пекине, затем – в Вашингтоне. Так что Дюбье мог бы быть теперь главным. Но он был заместителем. То ли ему не прощали пламенную троцкистскую молодость, то ли – жену-миллионершу. В холле, возле лифта и в коридорах – везде стояли картонные ящики, до верху набитые документами. Редакция должна была переехать в новое здание в конце сентября.

Дюбье в кабинете не было, и Борис, усевшись в большое вращающееся кресло, начал перелистывать “Newsweek”. Алан, с очками на носу, в рубашке, расстегнутой до пупа, вошел бесшумно, как большой лис. В руке у него была пачка телексов.

– Я звонил Пьеру в Москву, – сказал он, мягко опускаясь в кресло напротив. Красные его глаза

смотрели поверх очков устало, но внимательно. — Он говорит, что все тихо и никаких передвижений войск или усиленных патрулей не видно. Корреспондент Ройтера...

Борис протянул бумагу.

— Перевести?

— О, если это не в стихах... Я еще не забыл великий и могучий... — он говорил с сильным акцентом, но без ошибок. Прочитав, Алан крякнул, костяшками руки почесал щетину.

— Хочешь выпить?

— Уф, нет, спасибо, — отказался Борис.

Алан, не глядя, ткнул пальцем в сторону кофеварки.

— А, это да! Не откажусь.

Борис встал.

— Тебе налить?

— Угу, — Алан искал на экране компьютера телефонный номер. — Я не знаю, можем ли мы это дать. Это слишком серьезно.

— Как хочешь, — сказал Борис, — но я уже заплатил.

— Да-да, я помню, — Алан нажал на клавишу, компьютер начал набирать номер. — Зайди на второй этаж. Тебе выписали. — Ты его давно знаешь?

— Зорина? Сосед по дому. Его мать ходила к нам соль да спички занимать.

— Мир тесен?

— Мир не то чтобы тесен, но в мире тесно...

— Железный чекист?

— Сто процентов.

– Что ты сам думаешь? Зачем им это нужно? Надавить на Горби? Пощекотать ему нервы?

– Ты думаешь, это блеф?

– Если это правда, то это может быть началом катастрофы... Никто не хочет понять, что самые мирные и спокойные времена окончились.

Борис поставил перед ним пластиковый стаканчик с кофе.

– Самой безопасной эпохой была холодная война. Отныне, и очень-очень надолго, мы все в большом дерьме. В любой момент может произойти что угодно...

– На Орсейской так не думают...

Телефон не отвечал.

– Ну кого ты найдешь в Париже 16 августа? Смешно. Он нажал на клавишу, телефон заткнулся. – В любом случае, спасибо. Информация наша. Подождем до завтра...

“А что, если завтра...” – хотел сказать Борис, но удержался.

– Спасибо за кофе...

Алан протянул ему вялую руку. Борис еще раз скользнул взглядом по его лицу. Устал дядя. И пьет, как рыбка. Задыхается. Оттого, кстати, и пишет своими короткими знаменитыми фразами. Дыхалка не тянет.

Он получил на втором этаже конверт на свое имя, заскочил в архив, где нужно было бы заказать “Все о Гаро” и “Всего Гаро”, но архив уже переехал, купил на улице горячий креп с шоколадом и за пятнадцать минут до закрытия влетел в полутьму

огромного холла Американского Экспресса. Внизу, в полуподвале, где все еще змеилась очередь обменивающих шило на мыло, “зелень” на франки и чеки – на марки, он заполнил формуляр, пересчитал десять пятисотфранковых, попросил формуляр назад и в графе “текст” чиркнул “sorry be late”¹, расписался и катапультировался.

No guilt ! No harm. And some profit. Happiness is a warm gun! But where’s the famous trigger?²

Он пересек площадь Оперы, в ней всегда было что-то купеческое, гони монету, московское, дореволюционное, но, но? умноженное на сто? пошел вниз по авеню, зашел в Бретано, порылся в книгах, купил Нью-Йорк Бук Ревью, добрался до Комеди Франсез, уселся в кафешке за колоннами. Кого съесть? Ему принесли салат, настоящую окрошку без кваса, полпива светлого.

Он ел, тупо разглядывая крошечную, напроць загороженную туристическими автобусами площадь. Солнце било во все дыры: снопами, лучами, лучиками. Оно гудело могучими колоннами в арочном просвете Лувра, оно шипело, брызгало и окатывало жаром из проходняшки Пале-Ройаля. Один узкий лазерный луч, пущенный неизвестно откуда, медленно переползал с бутылки на бутылку, приближаясь к лысине бармена. Подожженное бутылочное стекло еще долго не гасло. Борис отвернулся. Кому охота смот-

¹ Прости за опоздание (англ.).

² Ни вины, ни вреда... Малость прибыли. Счастье – это теплый ствол! Но где же знаменитый курок? (англ.).

реть на прожженный череп и дымящиеся мозги парижского бармена?

Он вспомнил увеличительные стекла, драгоценные “прожигалки” из детства, которыми можно было поджечь что угодно. Рулон фото пленки, дужку очков, еще лучше – расческу. Он увидел, как синий дымящийся лучик выжигает букву Б на ручке пинг-понговой ракетки. Буква Б шипела. Он вспомнил, как наводили слепящую огненную точку на диагональные брюки – получалась дыра! И на ботинках тоже, нужно было лишь подольше подождать. Зуй навел золотую точку на голое плечо Кима на пляже и неделю ходил с разбитым носом...

Он оставил салат недоеденным, рассчитался и через Лувр вышел к Сене и по мосту Искусств, мимо унылого престарелого рокера, тренькавшего что-то неразборчивое на своей усталой гитаре, мимо загоравшего на скамейке длинноногого янки, на кепке которого было написано Living Immortals¹ мимо человека в темном костюме и галстук, который, сжав узкие губы, через видоискатель камеры смотрел на остров Сите (с похорон что ли? как можно в такую сумасшедшую жару...), мимо японца с мольбертом, писавшего тeneвую набережную и стоянку барж, мимо человека в огромной соломенной шляпе и драных шортах, собиравшего на опохмелку, – вышел на левый берег. Это был его любимый маршрут.

¹ Живые Бессмертные (англ.).

Через полчаса, бросив взгляд на веранду Ростана, он свернул в свою контору. Отключив сигнализацию, он раскупорил окна и сел за стол. На автоответчике пульсировала цифра 2. Первое послание было копией того, что Жюли оставила дома, второе хриплым голосом Кима выдало:

– Я прилетел... Попробую найти тебя в конторе или на Монпарнасском... See you...¹

– Японский бог! – подумал Борис, а как же бабки? Капуста? А... в конце концов, переведут назад. Потеря времени, не более.

Он был рад. О Дэзире он старался не думать. Наверняка, поцапались. Может быть, опять расходятся. Жаль. Они друг другу вполне... Бутылка “виши” была теплой. Он, обливаясь, глотнул. Кипяток. Сняв рубаху, громко зевнул и отправился в закуток туалета. Он облился по пояс, глотнул из-под крана. Тоже – теплая. Вернулся, уселся на продавленный диван. “Дождя не будет”, – подумал он, потянулся и передвинул поближе телефон. Какой номер у них на Полей Богаматери? Он вспомнил номер, но не был уверен в последней цифре. Набрал. Ответил молодой женский голос по-английски:

– Хеллоу?

Он спросил, квартира ли это мадемуазель Леру. Да, это была ее квартира. С кем он говорит? Со съемщицей. Мисс снимала квартиру на шесть месяцев. Нет, никто мадемуазель Леру не звонил и никто, нет-нет, никто не заходил...

¹ Пока! (англ.).

Шипела вода, телефон трещал. Мисс, это было ясно, говорила по переносному телефону, стоя под душем.

Он решил перелистать Нью-Йорк Книжное Обозрение, но его не было – забыл в кафе, включил компьютер и от нечего делать начал чистить файлы. Стер к чертям половину подстраховочных, залез в “нортон”, уплотнил диск, закрыл... Хорошо бы купить модем.

Натягивая влажную от пота тишотку, он поймал себя на том, что из какой-то внутренней трещины сочится хандра, выудил из бумажной корзины запрятанную фляжку “бэллэнтайна” и глотнул. Виски отозвалось легкой изжогой.

– Завтра, – сказал он, – драконий режим. Баста!

Сандра сидела на самом углу, возле лотка с книгами. Она была одна. Он плюхнулся рядом. Покрутил головой.

– Мы знакомы? – спросил он.

– Нет, – сказала она, целуя его в губы. – Но это пройдет.

– Боже, как же ты хороша, – у него щекотало в горле.

– По крайней мере ты знаешь, что теряешь...

На какое-то мгновение она перестала улыбаться.

Он хотел заказать “панаше”¹, но глядя на нее,

¹ Смесь пива с лимонадом.

резко притянула его к себе и, крепко целуя, вслепую начала расстегивать ремень на его джинсах. Ее рука скользнула под джинсы, он почувствовал как наполняется силой в ее руке, ее грудь вжалась в него, на какое-то мгновение они отпустили друг друга – он содрал с себя тишотку, джинсы – и, почти упав на диван, они жадно гладили и мяли друг друга, словно проверяя после разлуки, все ли на месте. Его рука была у нее меж ног, он осторожно ласкал ее, чувствуя, как она набухает, раскрывается ему навстречу.

Она текла, как порванный пакет с манговым соком.

Диван был неудобен, он кое-как нашел равновесие и вошел в нее с силой, чувствуя, как все ее тело поднимается ему навстречу. Она умела кричать почти молча, закусив руку, не обязательно свою. Он бился об нее, вбивал себя в нее с каким-то озверением.

– Я не могу ждать, – прошептала она и, не закрывая глаз, глядя ему в глаза, ища его рот своим, сильно дернулась и забилась в мелких спазмах. Он целовал ее мокрые плечи, мокрую грудь, лицо...

Было начало десятого. Сандра вышла из туалета, вытираясь жалким крошечным полотенцем. Он сидел на полу, курил. Тело медленно остывало. Меж лопаток подсыхал ручеек пота.

– Не грусти, – сказала она, стягивая юбку с крес-

ла. – Cela nous est déjà arrivé...¹ Помнишь? На Искее? Ты тоже не мог кончить.

– C'est dans ma tête...² – сказал он.

– Чья же еще? Конечно, это твоя голова. Твоя дурацкая голова.

Она застегивала блузку.

– У меня еще немного времени, пройдем через сад?

Он протянул руку и достал флягу с виски.

– Я бы выпил пива, – сказал он, делая большой глоток. – Холодного пива.

– Ростан открыт до которого часа? – спросила она.

Было начало десятого. Он позвонил Жюли. Ее голос был карамельно сладок.

– Я тебя жду...

– Слушай, – он смотрел, как Сандра большим гребнем расчесывает волосы. – Приехал Ким. Он не звонил? Я не знаю, где его искать...

– Во сколько ты будешь? – ее голос погас.

– Через час? – вопросительно ответил он. Сандра кивнула. – Через час. Если он позвонит, скажи, что я еду...

¹ Это с нами уже было (фр.).

² Это моя голова (фр.).

спросил кир, вдогонку гарсону передумал, и тот принес хайболл водки со льдом и бутылку тоника.

– Без двух порций я тебя не вынесу.

Она пила кофе.

– Ночной рейс, – улыбалась она, рассматривая его лицо. – Все равно не спать.

– Как всегда, – сказал он, чувствуя, как пьянеет.

– Ты знаешь куда? – она гладила его руку.

– В Москву...

– Ча! ¹

В течение нескольких минут он не знал, на каком языке они говорят.

– Ча, tu as mal choisi... ²

– Почему? – спросила она.

– Сюрприз, журналистские бредни... Завтра узнаешь... Не обращай внимания, это так, шутка, – добавил он, заметив, что глаза ее продолжают спрашивать.

Помолчали. Мимо прошел Тетсо с сумкой ракеток, махнул рукой. Из-под соседнего столика выползла болонка, высунув язык, уставилась на Сандру. Та бросила ей кусочек сахара. Солнце было теперь ниже крон деревьев и время от времени полыхало в просветах усталой электросваркой.

– Ким приехал, – наконец сказал Борис. – Может быть, появится. У них опять все вверх ногами...

– Слушай, – Сандра подняла его руку, разглядывая ладонь, – пойдём в твой офис, это ведь рядом?

¹ Это! (фр.).

² Это ты неудачно выбрала! (фр.).

– Десять метров, – ответил он. Он знал этот ее тихий голос. – Стоит ли? Опять все начнется сначала... Он отер пот со лба салфеткой.

– Когда я с кем-нибудь другим, – она смотрела теперь в сторону, – я думаю о тебе. Я практически каждый раз кончаю с тобой.

– Я тоже... – сказал Борис.

Он отобрал у нее одеревеневшую вдруг руку, она встала, вытащил сотню, подсунул под пепельницу. Уже стоя, он допил водку-тоник и, чуть не раздавив псину, выбрался из-за столика.

Мимо витрин книжных, мимо крошечного выставочного зала, мимо магазинчика киноафиш, мимо принадлежностей письменных и мимо цветочной лавки, возле которой в зарослях барбариса и далий бился и плясал на мокром асфальте резиновый шланг, мимо гадальных карт, мимо витаминов и трав прошли они и повернули направо в холодный, как церковь, подъезд.

Уходя, он забыл включить сигнализацию, и теперь, выключая, на самом деле ее включил. Сообразив, он в самый последний момент набрал код. Его знобило и трясло.

*Je suis malade de toi...*¹

Сандра, заведя руки за спину, расстегивала лифчик. Юбка была аккуратно повешена на спинку кресла. Прыгая на одной ноге, она содрала с себя слипсы. Он повернулся к ней, и она

¹ Я болен тобою... (фр.).

Они вернулись в Ростан, и он быстро, у стойки, выпил кружку бочечного. Перейдя улицу наискосок, они вошли в сад.

С этой стороны, со стороны улицы Медичи и бульвара Сен-Мишель, каштаны уже начали желтеть. Солнце теперь было совсем низко, где-то возле монпарнасской башни, и приходилось шуриться. Лучи были густо малиновыми, иногда почти зелеными, и пока они не миновали фонтан и бассейн с утками, было невозможно снять солнечные очки. Они сели возле балюстрады, сдвинув вместе два тяжелых кресла.

– Je ne suis pas triste ¹, – сказал он. – Не переживай за меня.

Она нагнулась и поцеловала его в ладонь. Она делала это редко, и каждый раз по спине у него пробегали мурашки. Длинные тени падали со всех сторон, сужались, тянулись к бассейну. Слабо пахло лимоном, цветами табака, застоявшейся водой.

– Ты думаешь, мы смогли бы жить вместе? Если бы я развелась? – Сандра смотрела в сторону.

“Боже! – подумал он. – Конечно! С этой же минуты, раз и навсегда!”

– А ты хочешь? – сказал он вслух.

Он достал сигарету, сломал пополам, закурил.

– Я не знаю, – он смотрел, как, тараня мягкие складки рыжей пыли, к ножке кресла ползла пчела, – что именно в нас испорчено. Я имею в виду

¹ Я не грущу... (фр.).

во мне... В Киме, быть может... Мы ведь двойники... Понимаешь? У меня такое ощущение, что я или родился без какого-то органа внутри, или же он у меня атрофирован с детства. По крайней мере я – не такой, как вы. Как вы здесь. Мы – не такие. Глупо, но к этому выводу приходишь после стольких лет... Не люблю это слово – эмиграции.

Ветер колыхнул ветви деревьев над ними, розовая пыль поднялась облаком, светясь там, где ее пронизывали лучи низкого солнца, завилась игрушечным смерчем... Небо было наполнено остывающим светлым дрожанием.

– Ты хочешь сказать, – она продолжала смотреть в сторону, – что каждый раз, я знаю, ты это слово тоже не любишь, каждый раз, когда ты чувствуешь себя счастливым, у тебя появляется чувство вины... Или грусти? Что ты не можешь быть просто счастливым? Без последствий?

– Знаешь, когда падаешь из окна, можно при желании сказать, что – летишь, но на самом деле все же – падаешь... Когда я с тобой, я действительно счастлив. И в то же самое время во мне гудит какая-то тревога. Сирена. Словно я не имею права... Словно это, не знаю как сказать... Самоубийство? Самоубийственно?

Пчела дернулась, снялась с места и исчезла.

– Это твой ответ? – спросила Сандра. – Ты не хочешь жить со мной из-за этой твоей тревоги?

Где-то возле баскетбольной площадки раздалась трель свистка. И сразу со всех сторон, из глубины сада, от дворца, из далеких зарослей родо-

дендронов у фонтана Медичи, со стороны колоннады и облупленных львов полетели свистки охранников.

– Fermeture! ¹ – кричали со всех сторон. – Закрываем. Fermeture!

Толстый седобородый охранник со свистком в руке приближался к ним. – Закрываем, дамгоспода, – красными мокрыми губами улыбался он, – Fermeture!

Они встали и пошли к выходу. В густой тени каштановой рощи самые последние солнечные подтеки горели в горячем песке, как лужи крови.

– С этой стороны закрыто, – предупредил их откуда-то сбоку голос охранника. – По центральной аллее, пожалуйста...

– Если бы ты и я с завтрашнего утра стали бы жить вместе, – начал он, удивляясь тому, что слова удавались ему с трудом, что их трудно вдруг стало выговаривать, – и если бы через год или же через пять лет между тобой и мной все бы кончилось, перестало вибрировать, иссякло, для меня бы это был конец всего. Не тебя и меня... – он вел ее за руку, как водят детей. – А всего. Понимаешь? Конец всего, что может в жизни быть. Вообще.

– И ты не хочешь рисковать? – спросила она, скосив глаза. Голова ее была опущена, словно она на ходу искала что-то под ногами. – Дурак... – добавила она после паузы, тряхнув голо-

¹ Здесь: Закрываем! (фр.).

вой. – Ты просто очень глупый, дебильный, совершенно идиотский круглый квадратный дурак!

– Я знаю, – сказал он. – Я больше чем дурак.

– Поговорим о чем-нибудь другом... – Она подняла голову. Глаза ее блестели, рот натужно улыбался. – О чем ты хотел? Когда мы шли...

Он набрал полные легкие воздуха.

– У меня такое ощущение, – начал он, чувствуя почти физически, как раздваивается, – что настала совсем другая эпоха. Это пока незаметно. Но мы перебрались всем скопом в совсем другие времена. Не знаю, чувствуешь ли ты это... Я помню, году в семьдесят пятом, – почти всхлипывая, продолжал он сквозь густой туман невыносимой собачей тоски, – встретил я где-то в Москве одну приятельницу. Она была замужем за дипломатом и только что вернулась из Европы. – Ну, как там, – спросил я, – в Европе? – Потрясающе, – сказала она, – вся Европа танцует... – Так вот, я хочу тебе сказать... – они остановились, – это не потому, что теперь мне за сорок. В Европе больше не танцуют. Танцы кончились. В общем-то все кончилось: сексуальная революция, гонки по автострадам, эЛэСДэшные путешествия, острова в теплом море, по дешевке купленные старые фермы в Бретани, Вудсток, Маклюен, ТМ¹... то есть все это продолжает кое-как существовать, все это еще наполнено жизнью, но это как отражение в

¹ Трансцендентальная медитация – упрощенный метод медитации с “выключенным” сознанием; распространился в начале 90-х годов.

гаснущем зеркале. Знаешь, посмотришь на ветку жасмина, закроешь глаза, и она у тебя еще дрожит где-то на изнанке век... Все, что происходит нынче – лишь отражение в гаснущем зеркале, на изнанке век...

Они стояли под липами. Она смотрела на него с прежней нежностью.

– Эсхатологический бред, – сказала она и провела ладонью по его лицу. – Как насчет нашествия инопланетян? Что еще застряло меж твоих полушарий?

– Наугад? – спросил он. – Мы, как евреи, в абсолютном рассеянье, даже дома. И – без Израиля. Без земли обетованной.

– Это все?

Он притянул ее к себе, вдохнул запах ее волос, поцеловал за ухом.

– Боже, как утомительно быть дураком, – сказал он, беря ее под руку.

Шаги его были теперь неуверенными, разными, он чувствовал, как качается, как плывет земля, как за спиной беззвучно, медленно, широким движением поворачивается небо: сползает набок монпарнасская башня, вповалку ложатся деревья, ползет в зенит дворец Сената, хлещет через край зеленая вода бассейна, бьются на гравии дорожки жирные карпы...

У ворот, выходящих на Бульмиш, было небольшое столпотворение. Какая-то парочка пыталась воспользоваться давкой и проскользнуть в сад.

– Закрыто, – сказал розовощекий офицер охраны, загораживая им путь. – Сожалею. Приходите завтра. С восьми утра.

FIN

ПОСЛЕСЛОВИЕ к русскому изданию

То, что жизнь – Тема Без Вариаций, с ограниченным количеством листов партитуры и неизбежным финалом знаешь всегда, изначально, но верить в это начинаешь поздно. В молодости почти все мы бессмертны, кредит времени огромен, будущего навалом, оно оплачено самим рождением, и в нем нагло и веско размещаются наши мечты... Со временем, однако, мечты превращаются в планы на будущее, в проекты, которые в свою очередь сморщиваются до фразы – “успеть бы”...

Это не мычание растерянного человека, а мантрам пессимиста... Раймон Арон говорил, что он предпочитает быть пессимистом, который смеется, нежели оптимистом, который плачет. Меня это устраивает.

Для тех, кто вырос на просторах одной шестой, возможности создавать вариации, варианты были сильно ограничены. Я имею в виду вариации внутри Темы. Причина проста и общеизвестна: у власти на просторах одной шестой постоянно пребывала шайка людей, способная лишать человека прошлого и будущего, то есть – настоящего. И при первой же попытке вырваться за пределы этой тяжелой географии человек неизбежно сталкивался с кошмарной проблемой восстановления прошлого, создания хоть какого-то будущего в надежде поселиться наконец-то в настоящем.

Я начал писать заметки к этой книге давно, лет пятнадцать назад, и в ту эпоху ни идеи Бердяева о взаимоотношении русского человека и огромного распахнутого пространства, ни эссе Кьеркегаарда о человеке, отсутствующем в настоящем, потому что он живет либо прошлым, либо – надеждой на будущее, либо – тоскою по прошлому и мечтой о будущем, мне не были знакомы.

Идеи эти, однако, легко самозарождаются в голове человека, получившего в подарок если и не пять шестых, то по крайней мере добрую половину мира. А этого вполне достаточно для того, чтобы понять, что у тамошних людей выбор вариаций внутри главной Темы не ограничен дебильностью герантов или амбициями придворных самодуров. Это и есть, наверное, свобода. В пределах ограниченности Темы...

Четырнадцатого июля 1978 года я стоял в толпе на крохотной площади Контрэскарп в латинском квартале Парижа. Играл оркестр, толпа двигалась в такт. В розовом вечернем небе мелькали

стрижи, пахло нагретым асфальтом, духами и бочечным пивом. Ближе к ночи над городом разразилась настоящая гроза фейерверка: крыши средневековых домов, купол Пантеона – всё было забрызгано цветным ливнем. То был день Бастилии, моей Бастилии, как я думал тогда (как я думаю и сегодня), потому что то были мои первые часы вне одной шестой. Веселящаяся полупьяная толпа была абсолютно безразлична ко мне, к моему любопытству, к моей эйфории, к моей грусти. В те часы я получал первые уроки свободы – она была прочно связана с равнодушием.

С тех пор прошло двадцать лет. Одна шестая съежилась в размере, но еще не слилась с остальным миром. Вариации внутри Темы на её территории стали наконец возможны, но тем, кто к ним не привык, они даются с трудом.

Эта книга могла бы по-русски называться “Межзонник”. Геннадий Шмаков, которому посвящена эта книга, балетоман и обожатель Марии Каллас, знаток Кавафи, полиглот, мифоман, поэт, переводчик, эстет, бывший ленинградец, житель Нью-Йорка, чья нить так резко оборвала сморщенной грабкой подслеповатая парка, жил, как живу я, как живут мои друзья в Париже, Лондоне или Сан-Франциско, то есть – между мирами. Между Питером и Нью-Йорком, между тогда и теперь, между прошлым, которое затвердело, став мифом иммигранта, и между настоящим, вязким и опасным, как тропическое болото. Как тропическое, потому что это настоящее полно странных испарений, световой зыби, лихорадки.

Книга эта лишь посвящена памяти Геннадия Шмакова, он не персонаж самого повествования. Во всех смыслах он не похож на двойного или раздвоенного героя этой «Темы Без Вариаций». Чья судьба (чьи судьбы), конечно же, невроз – невозможность покончить с прошлым и поселиться в настоящем. Прошрое, связанное с одной шестой, обладает такой мощной силой, что сокращает варианты внутри Темы даже в этом, потенциально свободном, мире.

ДС

Париж, 29 апреля 1998 года.

Литературно-художественное издание

Дмитрий Савицкий

«Тема Без Вариаций»

роман

Главный редактор *Медников Ю.*
Выпускающий редактор *Дмитриева В.*
Художественный редактор *Веселкова Е.*
Корректоры *Жук О., Гроссман А.*

ISBN 5-8168-0004-3

ЛР № 065809 от 14.04.98

OCR Давид Титиевский, апрель 2019 г., Хайфа
«Издательство «Химера»
199053, Санкт-Петербург, В.О., 2-я линия, д. 23

Подписано в печать 20.05.98. Формат 60×90¹/₁₆.
Печать офсетная. Бумага тип. № 1. Объем 19,5 п. л.
Тираж 10 000 экз. Заказ № 1600.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГПП «Печатный Двор»
Государственного комитета РФ по печати.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

«...Где-то внизу, на городском дне, вопили сирены, с пирса взлетела, шипя и отплевываясь, лиловая ракета, в темноте невидимое окно пульсировало Брамсом. Он перебрался в комнату, разделся, набросил ее шелковое с огромными драконами кимоно, затянул пояс, рухнул на кровать. Простыни были скомканы, подушка пахла её волосами. Он обнял её, вжался лицом. Оцепенение исчезло. Она должна была быть где-то здесь. Над ним. В комнате. В этом темном воздухе. Он перевернулся на спину. Человек не может исчезнуть просто так. Как вещь. Как диван, который вывезли. От него должны остаться несколько молекул?...»

ISBN 5-8168-0004-3

20·00



16/08/99

9 785816 800044

ООО "Издательство "Химера"

тел.: (812) 213-3438, 213-0089

E-mail: YAM@mail.convey.ru

on web: www. chimera. spb. ru